

Карина  Демина

Хозяйка Серых земель.  
**Люди и нелюди**

**Женщина создана сделать мужчину счастливым,  
где бы этот несчастный ни прятался!**

## Annotation

От хорошей жены и на каторге не скроешься. Вот и Евдокия собралась за исчезнувшим супругом в самое сердце Серых земель. Ведь всего-то надобно, что отыскать таинственную их Хозяйку да по-женски поинтересоваться, за какой такой надобностью она чужих мужей сманивает? Пусть возвращает Лихослава! А чтоб в пути Евдокия не потерялась, да и сопровождения ради, отправится с нею и родственник разлюбезный, старший актер познаньской полиции Себастьян Вевельский. С ним-то да с верным револьвером не страшны будут ни упыри, ни вурдалаки, ни иная нежить, каковой славятся проклятые сии места.

---

---

**Карина Демина**

**Хозяйка Серых земель. Люди и нелюди**

# Глава 1

## Дорожная

*Хорошо там, где меня нет, но ничего, я и туда доберусь...*

*Высказывание, сделанное Себастьяном, ненаследным князем Вевельским, в минуту задумчивости*

Грохотали колеса. Глухо, ритмично, и звук этот, к каковому Евдокия, по здравом размышлении, должна была бы привыкнуть за трое суток пути, раздражал неимоверно. Пожалуй, сильнее этого грохота – а порой Евдокии казалось, будто бы щелястый вагон, в котором не то что людей, скот перевозить стыдно, вот-вот рассыплется, – раздражал ее тоненький голос панны Зузинской, а заодно уж и рукоделие ее. Рукодельницею же панна Зузинская, по собственным словам, была отменною, а потому не в силах были помешать творческим ее порывам ни скрежет, ни тряска, ни уж тем паче такая вовсе досадная мелочь, как неудовольствие попутчиков.

Панна Зузинская, ловко перебирая пухлыми пальчиками, вывязывала шаль.

Спицами.

И спицы эти, вида весьма благолепного, подобающего даме почтенного возраста и рода занятий – а была панна Зузинская не кем иным, как свахою, – завораживали взгляд Евдокии. Хищно поблескивала сталь, и вот уже мерещилось, что будто бы не нитки она связывает, но паутину плетет.

– А вот, милочка, в Саповецкой волости, вы небось не слышали, так там отродясь водится, что невестушку в новом доме встречают руганью. – Панна Зузинская потянула ниточку, и клубок, на ее коленях лежавший смирнехонько, подпрыгнул.

И сама панна подпрыгнула, наклонилась, отчего пухленькие губки ее сжались куриной гузкой, а на личике мелькнуло выражение крайне неодобрительное, правда, для Евдокии так и осталось загадкой, что же панна Зузинская, которую на вторые сутки пути было милостиво дозволено величать Агафьей Прокофьевной, не одобряла: вагон ли, сам поезд или же те слова, что против воли сорвались с языка.

– Не поминайте Хельма, милочка, а то ведь явится. – Панна Зузинская прижала корзинку локотком, а вот Евдокии за ридикюлем пришлось наклоняться. И собирать рассыпавшиеся по грязному полу что стальные перья, что платки, что иные дамские мелочи, которые чем дальше, тем более бессмысленными ей представлялись.

– Так вот, собирается вся родня, что свекор со свекровью, что мужнины братовья со снохами... что иные... и каждый начинает новую невестку хулить, иные и плюются под ноги...

...Евдокия стиснула в руке перо, пытаясь справиться со злостью: судя по всему, плевались не только в Саповецкой волости.

Вагон был грязен.

Там, в Познаньске, это путешествие ей представлялось совершенно иным, и пусть бы дорожные чемоданы из крокодильей шкуры остались в чулане, но...

...не так же!

Тот самый третий вагон, в котором им надобно было ехать, еще на Познаньском вокзале

поразил Евдокию какой-то невероятной запущенностью. Был он темен, не то грязен, не то закопчен, некогда выкрашен в темно-зеленый колер, но ныне краска слущилась, осталась пятнами, отчего вагон гляделся еще и лишайным. По грязным стеклам его змеились трещины, а проводник, которому вменялось проверять билеты, спал под лесенкою. Еще и калачиком свернулся, тулуп накинул для тепла, стервец этакий.

– Спокойно, Дуся, – велел Себастьян, уже не Себастьян, но бравый пан Сигизмундус, студент Королевского университета. И картуз свой поправил.

Надо сказать, что к этому обличью, донельзя нелепому, вызывающему какой-то произвольный смех, Евдокия привыкала долго. Она не знала, существовал ли где-то оный пан Сигизмундус на самом деле и сколь многое взял от него Себастьян, но на всякий случай от души сочувствовала этому человеку.

Несообразно высокий, был он худ и нескладен. Крупная голова его, казалось, с превеликим трудом удерживалась на тощей шее, окутанной красно-желтым шарфом, каковой пан Сигизмундус носил и в червеньскую жару, утверждая, будто бы сквозняков бережется. Края шарфа были изрядно обтрепаны, как и кургузый пиджачишко с квадратными посеребренными пуговицами. Штаны пан Сигизмундус носил на лямках, не доверяя этакой новомодной штукенции, как подтяжки. Ботинки его, размера этак восьмого, но узконосые, блестящие, были украшены шпорами и при каждом шаге, а шаги у пана Сигизмундуса были огромные – Евдокия с трудом за ним поспевала, грозно позвякивали.

Еще пан Сигизмундус страдал вечными простудами, был зануден и склонен к нравоучениям.

– Мы и вправду отправимся...

– Дорогая кузина. – Пан Сигизмундус вытащил из оттопыренного кармана очки вида пречудовищного – с синими блескучими стеклами и серебряными дужками. Оные очки он кое-как пристроил на покрасневшем носу, шмыгнул им, высморкался и со всем возможным пафосом продолжил: – Дорогая кузина, умоляю вас преодолеть в себе предосудительность и внять голосу разума...

Разум как раз утверждал, что ехать в этом вагоне – чистое самоубийство.

Доски гнилые. И отходят. И наверняка внутри сквозит нещадно, не говоря уже о том, что это сооружение, по недомыслию прицепленное к составу, вовсе, быть может, не способно с места стронуться.

– Хотя, конечно, – смешался было пан Сигизмундус, в очках которого мир сделался смутен и мрачен, – я не вправе требовать от женщин разума.

– Что?

– Да будет вам известно, дорогая кузина, что в прошлом номере «Медицинского вестника» увидела свет презанятнейшая статья профессора Собакевича...

И статья, и профессор, и сам журнал Евдокию волновали мало.

– ...он утверждает, что женский мозг много легче мужского, а также извилины его упрощены, ввиду чего несомненно, что женский разум также более примитивен, не способен к мышлению абстрактному, а также...

– Стоп. – Евдокия поставила саквояж.

Пана Сигизмундуса хотелось ударить.

– Какое отношение это имеет к вагону?

Ее провожатый смутился, но ненадолго.

– Очевидно, что в скудоумии своем, дорогая кузина, прошу не обижаться на меня,

ибо желаю я говорить вам исключительно правду, как велит мне то мой родственный долг опекуна и единственного вашего родственника...

...говорил он громко, пожалуй, чересчур громко, и от голоса его женщина, что дремала на лавочке, встрепенулась. Она поправила кружевную свою шляпку из белой соломки, сняла пуховую шаль, которую скатала валиком и уложила в кружевную же корзинку, правда чересчур крупную, чтобы быть изящною.

– ...вы не способны осознать несомненных преимуществ нашего с вами вояжа...

– Это каких же?

Евдокия повернулась к женщине спиной.

Она ощущала колючий холодный взгляд ее, который был Евдокии неприятен, как и сама она, чистенькая, благодушно-розовая, неуместная на этом грязном перроне.

– Во-первых, – тощий палец пана Сигизмундуса вознесся к небесам, – несомненная экономия. Билет обошелся всего-то в пять медней...

Евдокия и одного не дала бы.

– ...тогда как за второй класс просили уже два сребня, не говоря уже о первом. – Эти слова пан Сигизмундус произнес с немалым раздражением, так, что стало очевидно, сколь глубоко презирает он всех тех, кто выбрасывает деньги за путешествие в первом классе. – Меж тем, логически размышляя, все пассажиры проделают одинаковый путь что по времени, что по расстоянию. Так к чему платить больше?

Евдокия открыла было рот, чтобы рассказать о такой немаловажной вещи, как комфорт, но ей не дозволено было произнести ни слова.

– Если же ты печешься об удобствах, – сказано было сие так, что Евдокия мигом устыдилась, – то я, дорогая кузина, способен обеспечить их. Я взял одеяло. Два.

Два пальца упирались в небеса.

– И флягу с горячим чаем. Бульон. Четыре куриных ножки. Яиц вареных... – Перечисление всего, что пан Сигизмундус счел нужным взять с собой – а судя по количеству чемоданов, список был немаленьким, – грозило затянуться надолго.

– Там дует! – Евдокия обернулась к женщине, которая подошла совсем уж близко, пожалуй, неприлично близко. – Скажите вы ему, что там дует!

– Ах, милочка, – женщина ответила очаровательнейшей улыбкой, столь сладкой, что оною улыбкой можно было глазурировать пряники, – вы уж не обижайтесь, но я так скажу: ваш родич прав. К чему платить больше? Поверьте моему опыту, в вагонах второго класса сквозит ничуть не меньше.

Зато выглядят эти вагоны куда приличней.

– Вот! – Пан Сигизмундус одарил новую знакомую благосклонным кивком.

– И чай там подают дурной. Не чай – название одно, а постельное белье и вовсе не свежее. – Она подхватила Евдокию под локоток. – К тому же никогда не могла я спать на этом постельном белье. Только и представляю, кто на нем до меня лежал...

– Лучше спать вовсе без белья?

Женщина рассмеялась журчащим смехом.

– Вы шутница... нет, я вот вожу с собой простыночку... и пуховую шаль. Она места занимает меньше, а греет лучше всякого одеяла... к слову, позвольте представиться – панна Зузинская.

Она протянула Сигизмундусу ручку, которую тот принял осторожно, брезгливо даже, сдавив полненькие, унизанные кольцами пальчики.

– Сигизмундус, – представился он, разглядывая что перстеньки, что саму панну, такую всецело благолепную, как сахарная фигурка со свадебного торта. – Студент. А это кухня моя. Дюльсинья. Но на Дусю тоже отзывается.

Желание огреть дорогого кузена саквояжем сделалось вовсе нестерпимым.

– А позволено ли будет узнать, куда вы направляетесь? – Панна Зузинская не спешила выпустить Евдокин локоть, отчего та чувствовала себя добычей.

– Сначала до Журьиной пади, а там и дальше в Серые земли, – говоря это, Сигизмундус приосанился и шарф свой оправил.

– В Серые земли?! – охнула панна Зузинская с фальшивым удивлением. – И панночка?

– Я не могу оставить сестру без присмотра!

– А вы...

– Меня зовет наука! – Сигизмундус ударил в грудь кулаком. – Я в долгу перед нею!

– Неужели? – пробормотала Евдокия, о которой, казалось, забыли. – А мне, дорогой кузен, казалось, что вы в долгу не только перед наукой...

– Пустое, – отмахнулся Сигизмундус и, склонившись к новой знакомой, прошептал: – Эти люди ничего не смыслят в науке. Они думают, будто бы миром правят злотни, а на деле...

Драматичная пауза повисла над перроном, и от этакой нехарактерной для вокзала тишины очнулся проводник, сел, ударившись затылком о ступеньку, и выматерился, к слову, довольно-таки затейливо, с фантазией.

– Что на деле? – шепотом поинтересовалась панна Зузинская.

– Все дело в знаниях. Вот увидите. Я найду ее...

– Кого?

– Бержмовецкую выжлю!

– Кого?!

– Бержмовецкую выжлю! – с придыханием произнес Сигизмундус. – Я докажу, что она существует, и стану знаменит! Я войду в историю! Мое имя будет во всех учебниках...

– Очень за вас рада, – пролепетала панна Зузинская, выпуская Евдокин локоть.

– Спасибо! – Сигизмундус отвесил поклон, несколько резковатый, верно, оттого панна Зузинская и отшатнулась. – Вы еще услышите обо мне! О Сигизмундусе Бескомпромиссном!

– Это ваша фамилия?

– Нет. – Евдокия не упустила случая отомстить. – Его фамилия Бескаравайчик...

– Наша, дорогая кухня... наша... но согласитесь, что Сигизмундус Бескомпромиссный звучит куда как солидней.

Кухина соглашаться не спешила, но оскорбленно замолчала, надулась, сделавшись похожей на фарфоровую куклу дешевой работы, этакую щекастую, с намалеванным румянцем и глупыми голубыми глазищами.

Впрочем, обманываться Себастьян не спешил.

Выражение оных глазищ, ежели приглядеться, не обещало ничего хорошего.

– Дорогой кузен, – ручка Евдокии стиснула Себастьяновы пальцы с неженскою силой, – надеюсь, вы знаете, что делаете.

Хотел бы Себастьян ответить, что, естественно, знает, однако же сомнения его не отпускали.

Третий вагон.

Грязный не только обыкновенной грязью, что скапливается везде, где обретаются люди,

но и той, незримой, от которой вся его натура заходилась немым криком.

Натуру пришлось заткнуть.

Проводник билеты принял, проверил что на свет, что на зуб, после смерил Себастьяна на редкость неприязненным взглядом, для которого не имелось ни единой причины.

– За багаж – пять медней, – сказал он и руку протянул.

Красную, будто бы вареную.

– Помилуйте! – Себастьяну пяти медней было не жаль, однако пан Сигизмундус, будучи по натуре существом хоть и возвышенным, всецело отданным науке, но не чуждым практичности, коия появлялась приливами, не способен был добровольно и без спора расстаться с такою суммой.

– Пять медней! – повторил проводник чуть громче и пнул холщовую желто-лиловую сумку, приобретенную Себастьяном у коробейника за вместительность и исключительный внешний вид.

– В билетах сказано, что багаж входит в стоимость проезда.

– Один чемодан. – Проводник поднял палец, точно сомневаясь в способности упертого пассажира считать до единицы. – За остальное барахло – плати.

Платить пришлось.

Пан Сигизмундус возмущался.

Кипел.

Плевался латинскими изречениями, от которых на лице проводника появлялось выражение величайшей муки, долго и муторно копался в кошеле, пересчитывая монетки, выбирая те, которые поплоче.

Но заплатил.

И, поднявшись по крутой лесенке со ржавыми ступенями, велел:

– Подайте.

– Сам возьми, – хмыкнул проводник и повернулся к неприятному пассажиру задом.

– Вы взяли деньги!

– За провоз. Чумоданы свои сам таскай... небось не шляхтич.

Пан Сигизмундус был оскорблен до самых глубин своей высоконаучной души, которая требовала мести, и немедленно. Правда, месть она представлялась мероприятием сложным, почти невыполнимым, ибо был проводник крепкого телосложения, немалой ширины плеч да и кулаками обладал пудовыми.

– За между прочим... – Пану Сигизмундусу пришлось за багажом спуститься, на что лесенка ответила протяжным скрипом. – За между прочим... – Пан Сигизмундус оправил шарф и, не имея иных возможностей отомстить – лимерик, который он дал себе слово сложить при первой же оказии, не в счет, – обдал проводника взглядом, исполненным презрения. – Предки мои сражались на Вроцлавском поле! И я имею титул барона... от дядюшки достался...

Это он сказал для панны Зузинской, которая за эскападою наблюдала с немалым интересом.

Проводник вновь хмыкнул.

Титула у него не было, да только ему и без титула жилось неплохо. И, отступив в стороночку – панну Зузинскую, добрую свою знакомую, он поприветствовал кивком, – проводник изготавился наблюдать. Вот тщедушный студиозус ухватился за сумку, запыхтел, отрывая оную от земли. И с нею в полуобнимку попытался подняться... едва не упал и сумку



выронил.

Что-то звякнуло. Задрезжало.

А лик студиозуса сделался морковно-красным, ярким.

– Возмутительно! – воскликнул он.

Проводник отвернулся.

Его служебные обязанности, благодаря заботе железнодорожного ведомства, были очерчены четко, и пронос багажа в них не значился.

Для того носильщики есть.

Отстав от сумки, студиозус принялся за чемоданы. С ними он управился легко, видать, не глядя на размер, были они довольно-таки легки. А после все ж вернулся к сумке...

– Что у вас там? – поинтересовалась панна Зузинская, которой сие представление уже успело надоесть. – Камни?

Студиозус отчего-то смешался. Побелел. И неловко промямлил:

– Книги. Очень дорогие мне книги... монографии... – Он все же поднял сумку, которую ныне держал, прижимая к груди обеими руками.

– Зачем вам книги? Там, – панна Зузинская махнула на рельсы, – от книг нет никакого толку...

Говорила она вполне искренне, но студиозус смутился еще сильнее.

– Понимаете, – громким шепотом произнес он, косясь на проводника, который делал вид, будто бы занят исключительно голубями. Оные слетались на перрон, бродили меж поездов, курлыкали, гадили, чем всячески отравляли жизнь дворникам и иным достойным людям. – Понимаете... наш домовладелец – черствый человек... как мог я ему доверить то ценное, что есть у меня...

И рученькой этак сумку погладил. Обернулся, смерив лестницу решительным взглядом.

– Мы с кузиной утратили наш дом... но обретем новый. Я верю...

– Два медня, – с зевком произнес проводник и руку протянул. – И помогу...

Деньги студиозус отсчитал безропотно. Но зато на ступеньку взлетел за проводником и сумку почитай выдрал из рук. И в вагоне ее пристроил в наилучшем месте, у окошка, тряпицею отер, бормоча:

– Знания – сила...

Кузина его, разобиженная, ничего не сказала.

Она устроилась на месте, согласно билету, и сидела с видом премного оскорбленным до самого отправления. Студиозус, также обиженный, правда, не на кузину, а на самую жизнь во всем ее многообразии несправедливостей, устроился напротив с тощею книженцией в руках.

Этак они и молчали, с выражением, с негодованием, которое, впрочем, некому было оценить.

Первой сдалась панна Зузинская.

Она сняла шляпку, устроив ее в шляпную коробку, оправила воротник, и манжеты машинного кружева, и сердоликовую брошь с обличьем томной панночки, быть может, даже самой панны Зузинской в молодые ее годы.

Из корзины появилась корзинка, прикрытая платочком, и с нею кроткая, аки голубица, панна Зузинская направилась к соседям.

– Не желаете ли чаю испить? – обратилась она вежливо ко всем и ни к кому конкретно.

Девица помрачнела еще больше, верно, живо представив себе посуду, из которой

придется потреблять рекомый чай. А кузен ее отложил книженцию и кивнул благосклонно.

– Учись, Дуся, – произнес он, когда на откидной столик скатерочкой лег белый платок, ко всему еще и расшитый незабудочками. – Путь к сердцу мужчины лежит через желудок...

На платочек стала фарфоровая тарелочка с пирожками и другая, где горкой выселись творожные налистники, рядом лег маковый пирог...

– Ах, какие ее годы! – Панна Зузинская от этакого нечаянного комплименту зарделась по-девичьи. – Все придет со временем... вы пробуйте, пробуйте... пирожки сама пекла...

Себастьян попробовал, надеясь, что поезд не настолько далеко от Познаньску отбыл, чтобы уже пора пришла от пассажиров избавляться. Пирожок оказался с капустой да грибами, явно вчерашний и отнюдь не домашней выпечки, скорее уж из тех, которые на вокзале продавали по полдюжины за медень.

– Вкусно. – Пану Сигизмундусу этикие кулинарные тонкости были недоступны, разум его смятенный занимали проблемы исключительно научные или же на худой конец – жизненно-финансовые. И оный разум нашептывал, что отказываться от дармового угощения неразумно.

Евдокия пирожок пробовала с опаской. Но ела, жевала тщательно...

– А что, позвольте узнать, вы читаете? – Панна Зузинская сама и за чаем сходила.

Принесла три стакана в начищенных до блеску подстаканниках.

– Сие есть научный труд по сравнительной морфологии строения челюстей упыря обыкновенного, – важно произнес Сигизмундус и, пальцы облизав, потянулся за новым пирожком.

– Как интересно! – всплеснула руками панна Зузинская. – И об чем оно?

– Ну... – Труд сей, как по мнению Себастьяна, являл собой великолепный образец научного занудства высочайшей степени, щедро сдобренный не столько фактами, сколько собственными измышлениями вкупе с несобственными, к месту и не к месту цитируемыми философскими сентенциями. – Об упырях...

– Да неужели? – пробормотала Евдокия и, во избежание конфликта, самоустранилась, переключив внимание свое на маковый пирог.

Ела она медленно, тщательно прожевывая каждый кусок, чем заслужила одобрительный взгляд панны Зузинской.

– Женщине незамужней, – сказала она, на миг позабыв и про книжку, и про упырей, – надлежит питаться одною росиночкой, аки птичка Ирженина...

Правда, потом вспомнила про голубей, тварей довольно-таки прожорливых, и вновь обратилась к Сигизмундусу:

– Значит, нонешняя наука и до упырей добралась?

– А то! – Сигизмундус загнул уголок страницы. – Упырь, чтоб вы знали, панна Зузинская, это вам не просто так, человек прямоходячий, сосучий, это – интереснейший объект для наблюдений!

Говорил он, не прекращая жевать, и пирожки один за другим исчезали в ненасытной студенческой утробе. Панна Зузинская мысленно прикинула, что этак ей для сурьезного разговору может и ресурсу не хватить.

– Упыри бывют разные. Вот пан Лишковец, – Сигизмундус поднял книжицу, взывая к академическому авторитету ее автора, – утверждает, что собственно упырей имеется семь разновидностей. Иные, конечно, относят к упырям и валохского носферата, но, по мнению пана Лишковца, сие неразумно ввиду полной мифологичности означенного вида...

– Вы так чудесно рассказываете... – Панна Зузинская подвинула корзинку с недоеденными пирожками поближе к студиозусу. – Я и не знала, что их столько... а у вас, значит, только кузина из всей родни осталась?

Сигизмундус кивнул, поскольку ответить иначе был не способен. Рот его был занят пирожком, на редкость черствым, с таким с ходу не способны были справиться и тренированные челюсти Сигизмундуса.

– Бедная девочка! – Панна Зузинская похлопала Евдокию по руке. – Женщине так тяжело одной в этом мире...

– Я не одна. Я с кузенком.

Глаза панны Зузинской нехорошо блеснули.

– Конечно, конечно, – поспешила заверить она. – Однако я вижу, что ваш кузен, уж простите, всецело отдан науке...

– С этой точки зрения, – Сигизмундус говорил медленно, ибо зубы его вязли в непрожаренном тесте, – представляется несомненно актуальным труд пана Лишковца, каковой предлагает использовать для систематики и номенклатуры упырей специфику строения их челюстного аппарата...

– Не обижайтесь, дорогая, – прошептала на ухо панна Зузинская, – но ваш кузен... вряд ли он сумеет достойно позаботиться о вас. Такие мужчины ценят свободу...

– И что же делать?

– ...особое внимание следует уделить величине и форме верхних клыков.

Панна Зузинская коснулась камен, тонкого девичьего лица, который на мгновение стал будто бы ярче.

– Выйти замуж, милочка... выйти замуж.

# Глава 2

## Все еще дорожная

*Скользкому человеку трудно взять себя в руки.*

*Открытие, совершенное неким паном Бюциковым, потомственным банщиком, в процессе помытия некоего помещного судии*

С того первого разговора и повелось, что панна Зузинская не отходила ни на шаг, будто бы опасаясь, что если вдруг отлучится ненадолго, то Евдокия исчезнет.

– Видите ли, милочка, – говорила она, подцепляя спицей шелковую нить, – жена без мужа, что кобыла без привязи...

Кобылой Евдокия себя и ощущала, племенная, назначенная для продажи, и оттого прикосновения панны Зузинской, ее внимательный взгляд, от которого не укрылся ни возраст Евдокии, ни ее нынешнее состояние, точнее, отсутствие оно, были особенно неприятны.

Зато укрылось и медное колечко, к которому Евдокия почти привыкла, и перстень Лихославов. Странно было, Евдокия точно знала, что перстень есть, чувствовала его и видела. А вот панна Зузинская, пусть и глядела на руки во все глаза, но этакой малости заметить не сподобилась.

– Куда идет, куда бредет... а еще и каждый со двора свести может, – продолжала она, поглядывая на Сигизмундуса, всецело погруженного в хитросплетения современной номенклатуры упырей.

– Тоже полагаете, что женщина скудоумна? – поинтересовалась Евдокия, катая по столику яйцо из собственных запасов Сигизмундуса. Выдано оно было утром на завтрак со строгим повелением экономить, ибо припасов не так чтобы и много.

Впрочем, себя-то Сигизмундус одним яйцом не ограничил, нашлась среди припасов, которых и вправду было немного, ветчинка, а к ней и сыр зрелый, ноздреватый, шанежки и прочая снедь, в коей Евдокии было отказано.

– Женщине следует проявлять умеренность, – Сигизмундус произнес сию сентенцию с набитым ртом, – поелику чрезмерное потребление мясного приводит к усыханию мозговых оболочек...

Яйцо каталось.

Панна Зузинская вязала, охала и соглашалась что с Евдокией, что с Сигизмундусом, которого подкармливала пирожками. Откуда появлялись они в плетеной корзинке, Евдокия не знала и, честно говоря, знать не желала. За время пути пирожки, и без того не отличавшиеся свежестью, вовсе утратили приличный внешний вид, да и попахивало от них опасно, но Сигизмундус ни вида, ни запаха не замечал. Желудок его способен был переварить и не такое.

– Ой, да какое скудоумие... – отмахнулась панна Зузинская, – на кой ляд женщине ум?

И спицею этак ниточку подцепила, в петельку протянула да узелочек накинула, закрепляя.

– Небось в академиях ей не учиться...

– Почему это? – Евдокии было голодно и обидно за всех женщин сразу. – Между прочим, в университет женщин принимают... в Королевский...

– Ой, глупство одно и блажь. Ну на кой бабе университет?

– Именно, – охотно подтвердил Сигизмундус, ковыряясь щепой в зубах. А зубы у него были крупные, ровные, отвратительно-белого колеру, который гляделся неестественным. И Евдокия не могла отделаться от мысли, что зубы сии, точно штакетник, попросту покрыли толстым слоем белой краски.

– Чему ее там научат?

– Математике, – буркнула Евдокия и сделала глубокий вдох, приказывая себе успокоиться.

Агафья Прокофьевна засмеялась, показывая, что шутку оценила.

– Ах, конечно... без математики современной женщине никак не возможно... и без гиштории... и без прочих наук... Дусенька, вам бы все споры спорить...

Спорить Евдокия вовсе не собиралась и тут возражать не стала, лишь вздохнула тяжело.

– А послушайте человека пожилого, опытного, такого, который всю жизнь только и занимался, что чужое счастье обустроивал... помнится, мой супруг покойный... уж двадцать пять лет как преставился... – Она отвлеклась от вязания, дабы осенить себя крестом, и жест этот получился каким-то неправильным. Размашистым? Вольным чересчур уж? – Он всегда говаривал, что только со мною и был счастлив...

– А имелись иные варианты? – Сигизмундус отложил очередную книженцию. – Чтоб провести, так сказать, сравнительный анализ...

Панна Зузинская вновь рассмеялась и пальчиком погрозила:

– Помилуйте! Какие варианты, это в нынешние-то времена вольно все... люди сами знакомство сводят... письма пишут... любовь у них. Разве ж можно брак на одной любви строить?

– А разве нет?

– Конечно нет! – с жаром воскликнула Агафья Прокофьевна и даже рукоделие отложила. – Любовь – сие что? Временное помешательство, потеря разума, а как разум вернется, то что будет?

– Что? – Сигизмундус вперед подался, уставился на панну Зузинскую круглыми жадными глазами.

– Ничего хорошего! Он вдруг осознает, что супружница не столь и красива, как представлялось, что капризна аль голосом обладает неприятственным...

– Какой ужас. – Евдокия сдавила яйцо в кулаке.

– Напрасно смеетесь, – произнесла Агафья Прокофьевна с укоризною. – Из-за неприятного голоса множество браков ущерб претерпели. Или вот она поймет, что вчерашний королевич вовсе не королевич, а младший писарчук, у которого всех перспектив – дослужиться до старшего писарчука...

– Печально...

Почудилось, что в мутно-зеленых, болотного колеру глазах Сигизмундуса мелькнуло нечто насмешливое.

– А то... и вот живут друг с другом, мучаются, гадают, кто из них кому жизнь загубил. И оба несчастные, и дети их несчастные... бывает, что и не выдерживают. Он с любовницей милуется, она – с уланом из дому сбегает... нет, брак – дело серьезное. Я так скажу.

Она растопырила пальчики, демонстрируя многоцветье перстней.

– Мне моего дорогого Фому Чеславовича матушка отыскала, за что я ей по сей день благодарная. Хорошим человеком был, степенным, состоятельным... меня вот баловал...

Агафья Прокофьевна вздохнула с печалью:

– Правда, деток нам боги не дали, но на то их воля...

И вновь перекрестилась.

Как-то...

Сигизмундус пнул Евдокию под столом, и так изрядно, отчего она подскочила.

– Что с вами, милочка? – заботливо поинтересовалась Агафья Прокофьевна, возвращаясь к рукоделию.

– Замуж... хочется, – процедила Евдокия сквозь зубы. – Страсть до чего хочется замуж...

– Только кто ее возьмет без приданого...

– Дорогой кузен, но ведь папенька мне оставил денег!

– Закончились...

– Как закончились?! Все?

Сигизмундус воззрился на кузину с немым упреком и мягко так произнес:

– Все закончились. Книги ныне дороги...

– Ты... – Евдокию вновь пнули, что придало голосу нужное возмущение. – Ты... ты все мои деньги на книги извел?! Да как ты мог?!

– И еще на экспедицию. – Сигизмундус к гневу кузины отнесся со снисходительным пониманием, каковое свойственно людям разумным, стоящим много выше прочих. – На снаряжение... на...

– Ах, не переживайте, милочка. – Агафья Прокофьевна несказанно оживилась, будто бы известие об отсутствии у Евдокии приданого было новостью замечательной. – Главное приданое женщины – ее собственные таланты. Вот вы умеете варенье варить? Сливовое?

Евдокия вынуждена была признать, что не умеет. Ни сливовое, ни иное какое. И в подушках ничего не смыслит, не отличит наощупь пуховую от перьевой. В вышивании и прочих рукоделиях женского плану и вовсе слаба... каждое подобное признание Агафья Прокофьевна встречала тяжким вздохом и укоризненно головой качала.

– Вашим образованием совершенно не занимались... но это не беда... выдадим мы тебя замуж... поверь тетушке Агафье.

Сигизмундус закашлялся.

– Что с тобою, дорогой кузен? – Евдокия не упустила случая похлопать кузена по узкой спине его, и хлопала от души, отчего спина она вздрагивала, а кузен наклонялся, едва не ударяясь о столик головой.

– П-поперхнулся... – Он вывернулся из-под руки.

Агафья Прокофьевна наблюдала за ними со снисходительною усмешечкой, будто бы за детьми малыми.

– Значит, ее можно сбыть? – Он ткнул пальцем в Евдокиин бок. – Ну то бишь замуж выдать...

– Можно, – с уверенностью произнесла панна Зузинская. – Конечно, она уже не молода, и без приданого, и по хозяйству, как я понимаю, не особо спора...

– Не особо... – согласился Сигизмундус.

– Приграничье – место такое. – Спицы в пальчиках Агафьи Прокофьевны замелькали с вовсе невообразимой скоростью, отчего еще более сделалась она похожей на паучиху,

правда, паучихи не носили золотых перстней, но вот... – Мужчин там много больше, чем женщин... нет, есть такие, которые с женами приезжают, но и холостых хватает. И каждому охота семейной тихой жизни...

С оным утверждением Себастьян мог бы и поспорить, но не стал.

– А где найти девицу, чтоб и норову спокойного, и небалованная, и согласная уехать в этакую даль?

– Мы подумаем, – ответил Сигизмундус, когда панна Зузинская замолчала. – Быть может, это и вправду достойный выход...

Кузина так не считала. Сидела с несчастным яйцом в руке, поглядывала мрачно что на сваху, что на Сигизмундуса...

– Что тут думать-то? – Агафья Прокофьевна всплеснула ручками. – Свататься надобно... сватовство, ежели подумать, дело непростое, у каждого народу свой обычай. Да что там народ... в каждой волости по-своему что смотрины ведут, что свадьбу играют...

...она щебетала и щебетала, не умолкая ни на мгновение.

– ...вот, скажем, у саровынов заведено так, что жениха с невестою ночевать в сарай спроваживают аль еще куда, в овин, амбар... главное, что не топят, какие б морозы ни стояли, и дают с собою одну шкуру медвежью на двоих. А у вакутов наутро после свадьбы сватья несет матери невесты стакан с водою. И коль невеста себя не соблюла, то в стакане оном, в самом доньшке, дырку делают. И сватья ее пальцем затыкает. А как мать невесты стакан принимает, то из той дырочки и начинает вода литься, всем тогда видно... позор сие превеликий...

Евдокия вздохала.

И слушала.

И проваливалась в муторную полудрему, которая позволяла хоть и ненадолго избавиться от общества панны Зузинской. Но та продолжала преследовать Евдокию и в снах, преображенная в огромную паучиху. Вооруженная десятком спиц, она плела кружевные ловчие сети и приговаривала:

– ...а в Залесской волости после свадьбы, ежели девка девкою не была, то собираются все жениховы дружки, и родичи его, и гости, какие есть. И все идут ко двору невесты с песнями, а как дойдут, то начинают учинять всяческий разгром. Лавки ломают, ворота, окна бьют... и от того выходит ущерб великий. А уж после-то, конечно, замиряются...

После этаких снов Евдокия пробуждалась с больною тяжелой головой.

– Терпи, – прошептал Себастьян, когда поезд остановился на Пятогурской станции. Остановка грозила стать долгой, и панна Зузинская вознамерилась воспользоваться ею с благой целью – пополнить запас пирожков.

После ее ухода стало легче.

Немного.

– Что происходит? – Евдокия потерла виски, пытаясь унять ноющую боль. И в боли этой ей вновь слышался нарочито-бодрый, но все ж заунывный голос панны Зузинской.

– Колдовка она. – Себастьян обнял, погладил по плечу. – Правда, слабенькая. Пытается тебя заговорить. Не только тебя, – уточнил он.

Колдовка? Сия назойливая женщина со звонким голоском, со спицами своими, салфеткою и корзинкой да пирожками – колдовка?

– От таких вреда особого нет. – На миг из-под маски Сигизмундуса выглянул иной человек, впрочем, человек ли? – Заморочить могут, да только на то сил у них уходит

изрядно... помнится, была такая Марфушка, из нищенок. У храмов обреталась, выискивала кого пожалостливей из паствы храмовой, цеплялась репейником да и тянула силы, пока вовсе не вытягивала.

Он убрал руки, и Евдокия едва не застонала от огорчения.

Ей отчаянно нужен был кто-то рядом.

И желание это было иррациональным, заставившим потянуться следом.

– Это не твое. – Себастьян покачал головой. – Марфуша была сильной... много сильней... намаялись, пока выяснили, отчего это на Висловянском храме люди так мрут... вот... а эта... у этой только на головную боль и хватит.

– И что ты собираешься делать? – За внезапный порыв свой было невыносимо стыдно, и Евдокия прикусила губу.

– Пока ничего. Она не причинит действительно вреда. А вот посмотреть... присмотреться...

Евдокия отвернулась к мутному окну.

Присмотреться? Да у нее голова раскалывается. Охота сразу и смеяться, и плакать, а паче того – прильнуть к чьей-нибудь широкой груди... даже и не очень широкой, поскольку Сигизмундус отличался характерною для студиозусов сутуловатостью.

Это не ее желание.

Не Евдокии.

Наведенное. Наговоренное. Но зачем? И вправду ли она, Евдокия, столь завидная невеста? Нет, прошлая-то да при миллионном приданом – завидная. А нынешняя? Девица неопределенного возраста, но явно из юных лет вышедшая. При кузене странноватом в родичах, при паре чумоданов, в которых из ценностей – книги одни...

– Правильно мыслишь, Дуся. – Сигизмундус кривовато усмехнулся. – Мне вот тоже интересно, зачем оно все?

Он замолчал, потому как раздался протяжный гудок, а в проходе появилась панна Зузинская, да не одна, а с тремя девицами на редкость скучного обличья: круглолицые, крупные, пожалуй что чересчур уж крупные, одинаково некрасивые. Смотрели девицы в пол и еще на Сигизмундуса, притом что смотрели искоса, скрывая явный и однозначный свой интерес. В руках держали сумки, шитые из мешковины.

– Доброго дня, – вежливо поздоровалась Евдокия, чувствуя, как отступает назойливая головная боль.

Вот, значит, как.

Заговорить? Убедить, что ей, Евдокии, и жить без замужества невозможно? А без самой панны Зузинской света белого нет?

– Доброго, Дусенька... доброго... идемте, девушки, обустроимся...

– Ваши...

– Подопечные, – расплылась Агафья Прокофьевна сладенькою улыбочкой. – Девочки мои... сговоренные ужо...

Девочки зарделись, тоже одинаково, пятнами.

– Едем вот к женихам... идемте, идемте... – Она подтолкнула девиц, которые, похоже, вовсе не желали уходить. Оно и верно, где там еще эти женихи? А тут вот мужчинка имеется, солидного виду, в очках синих, с шарфом на шее. Этакого модника на станции, да что на станции, небось во всем городке не сыскать. И каждая мысленно примерила на руку его колечко заветное...



Вот только Агафья Прокофьевна не имела склонности позволять всякие там фантазии.

– Женихи, – произнесла она строгим голосом, от которого у Евдокии по спине мурашки побежали, – ждут!

И этак самую толстую из девиц, уже и про скромность позабывшую – а то и верно, какая у старой девы скромность-то? – пялившуюся на Сигизмундуса с явным интересом, локоточком в бок пихнула.

Девушка ойкнула и подскочила...

– Я сейчас, Дусенька... девочек обустрою...

– Девочек? – шепотом спросила Евдокия, когда панна Зузинская исчезла за вереницей лавок. – Что здесь происходит?!

И тощую ногу Сигизмундуса пнула, во-первых, на душе от пинка оно ощущимо полегчало, во-вторых, он и сам пинался, так что Евдокия просто должок возвращала.

– Я и сам бы хотел знать.

Второй гудок заставил вагон вздрогнуть. Что-то заскрежетало, с верхней полки свалился грязный носовой платок, забытый, верно, кем-то из пассажиров, и судя по слою грязи, за которым исконный цвет платка был неразличим, забытый давно.

А в третьем вагоне объявились новые пассажиры.

Первой шла, чеканя шаг, девушка в дорожном платье, явно с чужого плеча. Шитое из плотной серой ткани, оно было тесновато в груди, длинные рукава морщили, собирались у запястий складочками, и девушка то и дело оные рукава дергала вверх.

На лице ее бледном застыло выражение мрачной решимости.

Следом за девушкой шествовала троица монахинь, возглавляемая весьма корпулентною особой. Поравнявшись с Евдокией, монахиня остановилась. Пахло от нее не ладаном, но оружейным маслом, что было весьма необычно. Хотя... что Евдокия в монахинях понимает?

– Мира вам, – сказала она басом, и куца верхняя губа дернулась, обнажая желтые кривые зубы.

– И вам, – ответила Евдокия вежливо.

Но смотрела монахиня не на нее, на Сигизмундуса, который делал вид, будто бы всецело увлечен очередной книженцией.

– И вам, и вам. – Сигизмундус перелистнул страницу, а монахиню не удостоил и кивка, более того, весь вид его, сгорбившегося над книгой, наглядно демонстрировал, что, помимо оной книги, не существует для Сигизмундуса никого и ничего.

Монахиня хмыкнула и перекрестилась. Под тяжкою поступью ее скрипел, прогибался дощатый пол.

Последним появился мрачного обличья парень. Был он болезненно бледен и носат, по самый нос кутался в черный плащ, из складок которого выглядывали белые кисти. В руках парень тащил саквояж, что характерно, тоже черный, разрисованный зловещими символами.

Шел он, глядя исключительно под ноги, и, кажется, об иных пассажирах вовсе не догадывался...

– Интересно, – пробормотал Сигизмундус, который от книги все ж отвлекся, но исключительно за-ради черствого пирожка, – очень интересно...

Что именно было ему интересно, Евдокия так и не поняла.

Третий гудок, возвестивший об отправлении поезда, отозвался в голове ее долгой ноющей болью. Вагон же вновь содрогнулся, под ним что-то заскрежетало протяжно и как-

то совсем уж заунывно... а за окном поползли серые, будто припыленные деревья.

До конечной станции оставались сутки пути.

Гавриил тяготился ожиданием.

– ...а вот, помнится, были времена... – Густое сопрано панны Акулины заполнило гостиную, заставляя пана Вильчевского болезненно кривиться.

От громкого голосу дребезжали стеклышки в окнах. А вдруг, не приведите боги, треснут? Аль вовсе рассыплются?

И сама-то гостья в затянувшемся своем гостевании отличалась немалым весом, телом была обильна, а нравом вздорна. Оттого и не смел пан Вильчевский делать замечание, глядя на то, как раскачивается она в кресле. Оно-то, может, и верно, что креслице оное, с полозьями, было для качания изначально предназначено, но ведь возрасту оно немало! Небось еще бабку самого пана Вильчевского помнило и матушку его... и к креслу сему, впрочем, как и ко всей другой мебели, и не только мебели, относился он с превеликим уважением.

И если случалось присаживаться, то мостился на краешке самом, аккуратненько.

А она... развалилася... еле-еле вперла свои телеса, в шелка ряженные...

– От поклонников прятаться приходилось...

– Успокойтесь, дорогая Акулина, это было давно, – дребезжащим голосом отзывалась заклятая ее подруга, панна Гурова. Вот уж кто был веса ничтожного, для мебели безопасного, что не могло не импонировать пану Вильчевскому, который одно время всерьез почти задумывался над сватовством к панне Гуровой. А что, мужчина он видный, при гостинице своей, она же тщедушна и легка, в еде умеренность блюдет, к пустому транжирству не склонна... Вот только собаки ейные...

Собак пан Вильчевский категорически не одобрял.

Мебель грызут. На коврах валяются. Шерсть оставляют. Вон, разлеглись у ног панны Гуровой, глаз с нее не сводят. С другой стороны, конечно, шпицы – охотники знатные, с ними и кошки не надобно, всех мышей передушили, но так для того одной собаченции хватит, какой-нибудь меленькой самой, а у ней – стая...

– Ах, вам ли понять тонкую душу...

Панна Акулина вновь откинулась в кресле, манерно прижавши ручку к белому лбу.

Сегодня она одевалась с особым тщанием, и лицо пудрила сильней обычного, и брови подрисовала дужками, и ресницы подчернила, и надела новое платье из цианьского шелку, синее, с георгинами.

– ...истинная любовь не знает преград... – В руке появился надушенный платочек, которым панна Акулина взмахнула.

Шпицы заворчали.

– ...и если вспомнить о недавнем происшествии, то станет очевидна несостоятельность ваших... вашего, панна Гурова, мировоззрения. – О происшествии панна Акулина вспоминала с нежностью, с трепетом сердечным, и чем дальше, тем более подробными становились воспоминания.

Гавриил покраснел, радуясь, что место выбрал такое, темное, в уголке гостиной.

Впрочем, с панной Акулиной он столкнулся за завтраком, и побледнел, прижался к стене, опасаясь, что вот сейчас будет узнан. Она же, окинув нового постояльца взглядом, преисполненным снисходительного презрения, проплыла мимо.

Гавриил не знал, что в воображении панны Акулины образ гостя ее ночного претерпел некоторые изменения. Оный гость стал выше, шире в плечах, обзавелся загаром и сменил цвет волос.

Что сделать, ежели панна Акулина всегда имела слабость к брюнетам?

Панна Гурова ничего не ответила, и молчание ее было воспринято панной Акулиной как признание маленькой своей победы.

– Вам просто не понять, что чувствует женщина, которой добивается мужчина...

– Колдовки, – пробормотал королевский палач.

Вот уж кто был идеальным постояльцем, тихим, незлобным, несмотря на профессию, о которой пан Вильчевский старался не думать. Да и то, мало ли чем люди на жизнь зарабатывают? Главное, чтоб заработанного хватало на оплату пансиона.

– Сжечь обеих? – с готовностью включился в беседу Гавриил, который по сей день чувствовал себя несколько стесненно, стыдно было, что он не просто так живет, а с тайным умыслом и за людьми следит бесстыдно... и даже в комнаты забраться думает, что, правда, не так уж и просто.

Та же панна Гурова покои свои покидает дважды в день, за-ради прогулки со шпичами, но в то время в комнатах ее убирается пан Вильчевский. С панной Акулиной то же самое, она и вовсе выходит редко... а пан Зусек, из всех постояльцев представляющийся наиболее подозрительным, и вовсе не оставлял номер без присмотра, то жена, то странная сестрица ее...

– Сжечь? – с явным удовольствием повторил королевский палач и даже за-ради этакой оказии – собеседников, готовых поддержать тему пристойной казни, он находил чрезвычайно редко, – рукоделие отложил. – От ту-то и сжечь можно...

Костлявый палец указал на панну Гурову.

– А другая... нет, не выйдет... уж больно расходно получится... оно-то как? На каждого приговоренного из казны выписывается что дрова, что маслице, что иной невозвратный инвентарь. И не просто так выписывается, а на вес... на каждую четверть пуда прибавляется.

Гавриил подумал и согласился, что оных четвертей в панне Акулине на пудов десять наберется, и вправду, жечь ее – сплошные для казны убытки. Появилось даже подозрение, что казнь сию отменили вовсе не из человеколюбия, а в силу ее для государства разорительности.

– Ах, дорогая, – панна Акулина раскачивалась, помахивала ручкой, платочек в ней трепетал белым знаменем, – не представляю, как это возможно, жизнь прожить без любви... очень вам соболезную...

Панна Гурова выразительно фыркала, поелику была все-таки дамой благовоспитанной и урожденною шляхеткой, в отличие от некоторых, и засим не могла позволить себе опуститься и сказать, где видела она эту самую великую любовь...

И вообще, она любила и любит.

Шпичев.

В отличие от людишек, которые к панне Гуровой были не особо добры что в девичестве, что в женские зрелые годы, когда обретенное семейное счастье рухнуло из-за скоропостижной смерти супруга – и ведь умер, стервец этакий, не дома, приличненько, а в постели полюбовницы, актрисульки среднего пошибу...

Нет, шпичи всяк людей милее.

– Вы и представить, верно, не способны, каково это, когда сердце оживает, трепещет... –

Панна Акулина уже не говорила, пела, во весь голос притом, а голос оный некогда заставлял дребезжать хрустальную люстру в Королевском театре. Стоило ли ждать, что выдержит его мощь крохотная гостиная?

Зазвенели стаканы.

Гавриил зашипел, а палач лишь хмыкнул:

– Эк верещит... нет, ее притопить надобно... было прежде так заведено, что ежели на которую бабу донесут, будто бы она баба колдовством черным балуется, то и приводят ее к градоправителю аль к цеховому старшине на беседу... а он уже смотрит, решает, колдовка аль нет. Ежели не понятно с первого-то погляду, тогда и приказывает вести к железному стулу...

– Какому? – Гавриил отвлекся от созерцания панны Гуровой, которая глядела на вокальные экзерсисы давней соперницы с презрением, с отвращением даже.

И было на ее лице нечто этакое, нечеловеческого толку.

– Железному, – охотно повторил старичок. – В старые времена в каждом приличном городе стоял что столб позорный, что стул у реки ну или, на худой конец, у колодца. К нему и строптивых жен привязывали во усмирение, и склочниц, и торговок, ежели в обмане уличали... пользительная вещь. Макнешь бабу разок-другой, она и притихнет. Колдовок-то надолго притапливали, чтоб весь дух вышел. А после вытаскивали. Ежели еле-еле живая, то ничего... отпускали, значит, мало в ней силы. А вот когда баба опосля этакого купания бодр да верещит дурным голосом, тогда-то...

Он замолчал, прищурился, и на лице его появилось выражение задумчивое, мечтательное даже. Признаться, Гавриилу не по себе стало, потому как живо представил он, как многоуважаемый пан Жигимонт в мыслях казнь совершает, и отнюдь не одной громогласной панны Ангелины.

– Прежде все-то было по уму, а в нынешние-то времена... – Пан Жигимонт покачал головой и языком поцокал, показывая, сколь нынешние времена ему не по вкусу. – Судейских развелось, что кобелей на собачьей свадьбе... судятся-рядятся, а порядку нету...

– Опять вы о своем? – Панна Каролина всплыла в комнату. Была она не одна, но с супругом, и Гавриил вновь поразился тому, до чего нелепо, несообразно глядится эта пара. – Ах, пан Жигимонт, вы меня поражаете своим упорством...

Ее окружало облако духов, запах их пряный, пожалуй, излишне резкий щекотал нос, и Гавриил не выдержал, расчихался.

– И-извините... – Взгляд черных гишпанских глаз заставил его густо покраснеть, он вдруг ощутил себя человеком жалким до невозможности, никчемным и годным едино волкодлакам на пропитание... некстати вспомнилась вдруг матушка.

Братья.

И отчим, образ которого Гавриил всячески гнал из памяти, но тот, упертый, возвратался.

– И-извините. – Он вытащил из кармана платок и прижал к носу. – Аллергия...

– Надеюсь, не на меня? – Шелковая ладонь панны Каролины скользнула по щеке. – Было бы огорчительно, ежели б юноша столь очаровательный...

Она мурлыкала. И глядела прямо в глаза, и от взгляда ее становилось неловко. Гавриил ясно осознал, что сия женщина, великолепная, какой только может быть женщина, стоит несоизмеримо выше его. И с высоты своей смотрит на него с интересом.

Жалостью?

Насмешкой... к насмешкам Гавриил привык, жалости стыдился, а вот интерес этот...

– Не на вас... на... на цветную капусту! – выпалил он и покраснел, поскольку врать было нехорошо. И одно дело, если ложь служила во благо государства и людей, и совсем другое, когда Гавриил врал для себя.

– На цветную капусту? – удивилась Каролина. – Никогда не слышала, чтобы у кого-то была аллергия на цветную капусту!

– Значит, я особенный... – Гавриил вновь чихнул и поднялся. – И-извините... я... я, пожалуй, пойду...

Однако панна Каролина настроена была на беседу.

– Простите. – Она взяла Гавриила под руку, а он не посмел отказать ей в этой малости. Запах духов сделался вовсе невыносим. – Но где, позвольте узнать, вы нашли здесь цветную капусту?

Ее бархатный голос, пусть и был не столь богат, как у панны Акулины, завораживал.

И не только голос.

Темно-винного колеру платье облегалo фигуру Каролины столь плотно, что казалось, будто бы оно не надето – приклеено к смуглой ее коже. И у Гавриила появилось престранное желание – скovyрнуть краешек, проверить, и вправду ли приклеено, а если и вправду, то крепко ли держится.

Взгляд его, обращенный не на лицо, но в вырез, пожалуй, чересчур уж смелый, хотя и следовало признать, что смелость сия происходила исключительно от осознания Каролиной собственных немалых достоинств, затуманился.

– К-капусту? – переспросил Гавриил, немалым усилием воли заставив себя взгляд отвести.

И узрел, что к беседе их прислушивается не только пан Жигимонт.

– Капусту, – подтвердила Каролина, и вишневые губы ее тронула усмешка. – Цветную.

– Она... – Гавриил сглотнул. – Она где-то рядом... я чувствую!

Получилось жалко.

Но от дальнейших объяснений его избавил очередной приступ чихания, который длился и длился... и Гавриил не способен был управиться ни со свербящим носом, ни с глазами, из которых вдруг посыпались слезы.

– И-извините... – Он отступил, едва не опрокинув легкое плетеное креслице. Сей маневр не остался незамеченным, и пан Вильчевский нахмурился. Во-первых, креслице было почти новым – и десяти лет не простояло, во-вторых, он давно уже подозревал, что кто-то из жильцов чересчур уж вольно чувствует себя на кухне, поелику продукты, запасенные паном Вильчевским, имевшие и без того неприятное свойство заканчиваться, ныне заканчивались как-то слишком уж быстро.

Выходит, и вправду воруют...

Он тихонечко выскользнул из гостиной.

Спустился на кухню и открыл кладовую.

И замер, пораженный до глубины души... нет, цветная капуста, купленная позавчера по случаю – отдавали задешево, – была на месте. Пан Вильчевский видел крупные ее головки, заботливо укрытые соломой, и тыкву не тронули, равно как и аккуратненькие, прехорошенькие патиссончики, из которых он готовил чудесное жаркое.

А окорок исчез.

Пан Вильчевский всхлипнул от огорчения – за окорок он выложил полтора сребня, хотя и торговался долго, старательно. И для себя ни в жизни не приобрел бы такого роскошества,

но постояльцы, чтоб их Хельм прибрал, капризничали. Мяса желали. Вот и пришлось.

Он покачнулся, чувствуя, как обмерло сердце, ухватился за косяк, но устоял.

Кто?

И главное, когда?

Пан Вильчевский вытянул руку, надеясь, что все же окорок на месте, а ему лишь мерещится с усталости, но нет, на полке было пусто, и лишь промасленная бумага, жирная, с мягким запахом копченостей, свидетельствовала, что оный окорок все же существовал.

Пан Вильчевский вышел.

И кладовую запер на ключ по привычке – к предателю-замку пан Вильчевский не имел более веры. Завтра же сменит, новый поставит, не поскупится на самый лучший... или на два...

А вора сдаст полиции.

Правда, в полиции к позднему звонку отнеслись несерьезно. Дежурный зевал и слушал пана Вильчевского без должного внимания, а после присоветовал замки сменить и больше не беспокоить занятых людей подобною ерундою.

Полтора сребня ущерб...

Это прозвучало так, будто бы эти полтора сребня, с которыми пан Вильчевский с немалым трудом расставался, были вовсе пустяковиной. А пану Вильчевскому, за между прочим, никто деньгу за так не дарит...

Нет, в полиции пан Вильчевский разочаровался всецело. Ничего. И без полиции управится. Небось не трудное это дело... утречком по комнатам пройдет, будто бы убираясь, глянет, что да как... там оно и ясно станет. Окорок приличный был, в полпуда, этакий за раз не потребишь, да и спрятать не выйдет.

Почти успокоившись – с похитителя он возьмет втрое против того, что сам уплатил, за нерву потраченную, – пан Вильчевский вернулся к себе...

# Глава 3

## О попутчиках всяких и разных

*Фигура, она или есть, или не надо есть...*

*Из размышлений панны Гуровой о жизни и некоторых своих заклятых приятельницах*

На Вапьиной Зыби поезд сделал трехчасовую остановку. Вызвана она была не столько технической надобностью, сколько переменами в расписании.

– Бронепоезд пропускаем, – поведала панна Зузинская, которая чудесным образом умудрялась узнавать обо всем и сразу. – Ах, дорогая, не желаете ли прогуляться? По себе знаю, сколь тяжело даются женщинам путешествия... мы – создания слабые, о чем мужчины бесстыдно забывают...

Она покосилась на Сигизмундуса, который, забившись в уголок меж полками вагона, тихонечко дремал и вид при том имел самый благостный. Рот его был приоткрыт, на губах пузырилась слюна, а кончик носа то и дело подергивался.

– Мой кузен не одобрит... – Идти куда-то с колдовкою у Евдокии не было желания.

– Помилуйте, – отмахнулась Агафья Прокофьевна, – ваш кузен и не заметит... очень уж увлеченный человек...

Увлеченный человек приоткрыл глаз и подмигнул.

Идти, значит?

– Пожалуй... он такой... рассеянный, – вздохнула Евдокия.

И ридикюль взяла. Колдовка колдовкой, но в силу оружия она верила безоглядно.

Сигизмундус вытянул губы трубочкой и замычал так, будто бы страдал от невыносимой боли. Вяло поднял руку, поскреб оттопыренное ухо свое. Вздохнул.

– Идемте, – шепоточком произнесла панна Зузинская, верно не желая разбудить несчастного студиозуса, уморенного наукой. – Свежий воздух удивительно полезен для цвету лица.

Стоило оказаться на узеньком перроне, как Евдокия убедилась, что местный воздух не столь уж свеж, как было то обещано, а для цвету лица и вовсе не полезен, поелику щедро сдобрен мелкой угольной пылью. Из-за нее першило в носу и горле, а панна Зузинская привычным жестом подняла шелковый шарфик до самых до глаз.

– Неприятное место, – призналась она.

И Евдокия с ней согласилась.

Их поезд стоял на пятом пути, и справа, и слева расплзались полотнища железной дороги. Блестели на солнце наглаженные многими колесами рельсы, а вот шпалы были темны и даже с виду не более надежны, нежели треклятый третий вагон, который Евдокия успела возненавидеть от всей души. Меж путями росла трава, какая-то грязная, клочковатая. Виднелся вдали вокзал, низенький и более похожий на сарайчик, явно поставленный для порядка, нежели по какой-то надобности.

Да и само это место было... зябким? Неприятным.

– Границу чувствуете. – Панна Зузинская произнесла это едва ли не с сочувствием. – По первости тут всегда так... неудобственно. А после ничего, свыкнетесь, но, дорогая моя,

прошу простить меня за вынужденный обман...

Ее голос ненадолго заглушил тонкий визг паровоза, заставивши Агафью Прокофьевну поморщиться.

– Тут недалеко шахты угольные, – пояснила она. – Вот и построили сортировочную станцию... задымили весь город.

Она раскрыла зонтик, под ним пытаясь спрятаться от вездесущей пыли.

– Но я не о том желала с вами побеседовать... видите ли, Дульсинея... меня очень беспокоит ваш кузен... он явно не желает, чтобы вы были счастливы!

Для пущего трагизму, видать, она всхлипнула и платочек достала, прижала к щеке.

– Думаете?

– Почти уверена! – Платочек переместился к другой щеке. – Сколько на своем веку я видела несчастных женщин, что оказались во власти жадной родни... волею судьбы вы стали его заложницей...

Она говорила так искренне, что Евдокии поневоле стало жаль себя.

Волею судьбы...

И вправду, заложницей, потому как без Себастьяна ей пути нет. Серые земли – не то место, где Евдокии будут рады. Стиснув кулаки крепко, так, что ногти впились в кожу, а боль отрезвила, Евдокия произнесла, глядя в мутные колдовкины очи:

– Вы же слышали, он потратил мое приданое...

– Ах, деточка, – Агафья Прокофьевна платочек убрала, но поморщилась, поскольку на белом батисте появилась уже характерная серовато-черная рябь, – и вы поверили? Душечка моя, он лгал, и лгал неумело... он забрал ваши деньги, полагая, будто бы вам и без них ладно...

Она вздохнула и погладила Евдокиину руку, утешая.

– Такое случается, но деньги не важны... в Приграничье обретаются люди небедные. Вот, подержите, – Агафья Прокофьевна сунула зонт, – одну минуточку... вот...

Из кожаной сумки ее, сколь успела заметить Евдокия, отнюдь не дешевой, появился пухлый альбом.

– Смотрите... это пан Мушинский... он туточки факторию держит, приторговывает помаленьку. Состоятельный господин и одинокий.

Пан Мушинский был носат, усат и в то же время лыс.

– А вот пан Гуржевский, он золотодобычей занимается, месяц как овдовел. А на руках – двое детишек. Слезно просил подыскать в супруги девушку приличную...

Следовало признать, что женихов в альбоме имелось множество, один другого краше, и о каждом панна Зюзинская рассказывала со знанием, со страстью даже.

– Видите, – панна Зюзинская захлопнула альбомчик, – столько одиноких людей, чье счастье вы могли бы составить.

Альбомчик исчез в сумке.

– Но у вас есть уже...

– Ах, бросьте. – Агафья Прокофьевна отмахнулась. – То обыкновенные девки мужицкого свойства, а в вас, Дусенька, сразу же порода чувствуется. Ваша гордая статья...

За породу стало совестно.

А с другой стороны, Евдокия себя к шляхтичам не приписывала, так что за обман оный ответственности не несет, пускай Себастьяну стыдно будет. Впрочем, она тут же усомнилась, что дорогой родственник в принципе способен испытывать этакое дивное чувство.



– Ваша походка, манеры, то, как вы себя держите... – Агафья Прокофьевна обходила Евдокию полукругом, и головой качала, и языком цокала, аккуратно как цыган, пытающийся коняшку сбить.

И Евдокия чувствовала себя сразу и цыганом, и коняшкой, которую по торговой надобности перековали да перекрасили, и наивным покупателем, неспособным разглядеть за красивыми словами лжи.

– Вы сможете выбрать любого! Вся граница будет у ваших ног!

– Не надо. – Евдокия подняла юбки, убеждаясь, что под ними нет пока границы, но только былье да куски угля, который туточки валялся повсюду.

– Почему?

– Не поместится.

Агафья Прокофьевна засмеялась.

– Видите, вы и шутить способные... нет, Дусенька, помяните мои слова, у вас отбою от женихов не будет... вот только...

– Что?

– Ваш кузен не захочет вас отпустить.

– С чего вы решили?

– С того, что привык держать вас прислугою. Небось сам-то ни на что не способный, окромя как книги читать. Дело, конечно, хорошее, да только книга поесть не стотовит, одежду не стирает, не заштопает. Нет, Дусенька, помяните мое слово! Как прибудем, он сто одну причину сыщет, чтобы нам помешать.

– И как быть?

– Обыкновенно, Дуся... обыкновенно... бежать вам надобно.

– Сейчас?! – Бежать Дуся не собиралась в принципе, но подозревала, что отказа ее новая знакомая не примет.

– Нет, как прибудем. Вы скажете, что надобно отлучиться... ненадолго... по естественным причинам. А уж в туалетной-то комнате при вокзале я вас и подожду... отвезу к себе...

...и неужели находились такие, которые верили ей?

Сахарной женщине, которая, и припорошенная угольной пылью, не утратила и толики своей сладости? Она ведь не в первый раз говорит сию речь проникновенную, и оттого, верно, устала уже, утратила интерес. Слова льются рекою, гладенько, хорошо, а в глазах – пустота.

Безынтересна Евдокия панне Зузинской.

Как человек безынтересна.

Но нужна.

Зачем?

– Я... я подумаю. – Евдокия потупилась.

– Думайте, – разрешили ей. – Только уж не тяните...

Себастьян смотрел в окно, серое, затянутое не столько дождем, сколько пылью, оно отчасти утратило прозрачность, и видны были лишь силуэты.

– А шо вы делаете? – раздалось вдруг над самым ухом.

И Себастьян от окна отпрянул и тут же устыдился этого детского глупого страха быть пойманным за делом неподобающим.

– А шо, я вас спужала?

Давешняя невеста, к счастью, если верить панне Зузинской, просватанная, а потому

потенциально неопасная, стояла в проходе. И не просто стояла, а с гонором, ножку отставивши, юбку приподнявши так, что видны были и красные сафьяновые ботиночки, и чулочек, тоже красный, прельстительный.

– Доброго дня. – Пан Сигизмундус отвел глаза, ибо был личностью исключительной целомудренности, ибо с юных лет предпочитал книги дамскому обществу. Оное, впрочем, за то на пана Сигизмундуса обиды не держало.

– А таки и вам... – Девушка хохотнула. – Семак хотите?

– Нет, благодарю вас...

– Таки шо, совсем не хотите? – Семечки она лузгала крупные, полосатые, отчего-то напомнившие Себастьяну толстых колорадских жуков.

И от этого сходства его аж передернуло.

– Хорошие. – Девушка сплюнула скорлупку на пол. – Мамка с собою дала. Сказала, на, Нюся, хоть семак с родного-то дому...

Голос девушки сорвался на трубный вой, и Себастьян вновь подпрыгнул.

Или не он, но пан Сигизмундус, женщин втайне опасавшийся, полагавший их не только скудоумными, но и на редкость упертыми в своем скудоумии. А сие сочетание было опасно.

– А шо вы все молчитя? – Девушке надоело лузгать семки, и остаток она ссыпала в кожаный мешочек, висевший на поясе. – Вы такой ву-умный...

Это она произнесла с придыханием и ресницами хлопнула.

Пан Сигизмундус вновь зарделся, на сей раз от похвалы. Хвалили его редко.

– Я ученый.

– Да?! – Девушка сделала шагок.

В нос шибануло крепким девичьим духом, щедро приправленным аптекарскою водой, кажется, с запахом ночной фиалки.

– А шо вы учите?

– Ну...

– А то у нас в селе учительша была... все твердила: читай, Нюся, книги, вумною станешь... ха, сама-то в девках до этой поры... вот до чего книги доводят!

Себастьян попятился, но девушка твердо вознамерилась не дожидаться милостей от судьбы. Оно и понятно: где там обещанный свахой жених? До него сутки пути на поезде, а опосля еще и бричкой.

И как знать, дождется ли он?

Небось, пока сговаривались, пока судились-рядились, тятка думал, мамку уговаривал – больно не хотелось ей Нюсю от себя отпускать... вдруг да и нашелся кто поближе? А если и не нашелся, то мало ли каким окажется? Сваха-то сказывала красиво и карточку дала с носатым мужиком, да только у ей работа такая – сватать. Небось как тятка корову на ярмарке продавал, то тоже врал, будто бы сливками чистыми доится, а норову кроткого, аки горлица... нет, не то чтобы Нюся свахе и вовсе не верила, но вот...

Вдруг жених этот косою?

Кривою?

Аль вообще по женской части слабый, а Нюсе деток охота народить и вообще честного бабского счастья кусок. Оное же, счастье, было тут, на расстоянии вытянутой руки. Тощенькое, правда, да только оно и понятно, что исключительно от одиночества. Небось холостые мужики завсегда что волки по весне, с ребрами выпертыми, с глазами голодными, а оженится да и пообрастет жирком на честных семейных харчах. И опять же видать,

что не местный, так Нюся его с собою возьмет. У тятки хозяйство великое, с радостью примет помощничка, а маменька и вовсе, как поймет, что Нюська домой возвратилась, от радости до соплей изрыдается.

И от этой благодатной картины на сердце становилось легко.

– Упырей учу... – пролепетал Сигизмундус, который в светлых девичьих глазах прочел приговор. – То есть... не упырей учу... изучаю... работу пишу... по упырям...

Нюся поморщилась: все ж таки городские людишки, с которыми до сего дня ей случалось сталкиваться лишь на ярмарке, были странны.

Это ж надо придумать: учить упырей!

С упырем в селе разговор один – колом да в грудину. И чесноку в рот, чтоб лежал смирихонько и на людей честных не зарился. А тут... какой вот толк от ученого упыря? И чегой про них писать-то?

Нюся даже засумлевалась, надобен ли ей этакый жених, но опосля представила, как в недельку-то идти до храма да с супружником под ручку. И сама-то важная, по случаю этакому принарядившаяся. Небось маменька на радостях не пожалеет тулупу с парчовым подбоем, какого ей тятка в позатом годе справил. А под тулупом – платье по городской моде, чтоб пышное, богатое, и бусы на шее, красные, в три ряда. Но главное – супружник. Ему тоже надобно будет одежонки какой приличной приобрести, скажем, портки полосатые, как у старосты, и пиджак с карманами да пуговицами медными. Жилетку опять же ж, потому как без жилетки красота неполная будет...

И вот все на Нюсю глядят, шепчутся, дивятся тому, как она, перестарок, сумела этакого мужика найти. Хотя, конечно, в примачи, да зато ученый... про упырей небось знает больше, чем тятка про своих коров...

– А шо... – Нюся подобралась еще ближе, и в глазах ее появилось хорошо знакомое Себастьяну выражение. Этак кошки дворовые глядели на воробьев, прикидывая, как бы половчей ухватить... воробьем себя Себастьян и ощутил.

И сглотнул, приказывая Сигизмундусу не паниковать.

Чай, храмы далече и жрецов поблизости не наблюдается, и, значит, честь Сигизмундусова пока в относительной безопасности.

– А шо, – повторила Нюся, томно вздохнувши. Вспомнились маменькины наставления, что, дескать, мужик страсть до чего поговорить охочий, а как говорит, то и глохнет, будто бы глухарь токующий... главное, вопросу верно задать. И Нюся нахмурилась, пытаясь понять, каковой из всех вопросов, что вертелись на ее языке, тот самый, правильный, поспособствующий воплощению простой девичьей ее мечты. – А шо... упырь в нынешнем году жирный?

Маменька, правда, не про упырей тятку пыталась, но про свиней, так то и понятно. Тятка за своими-то свиньями редкой аглицкой породы душою болеет, волю дай, так и жил бы в свинарнике... упыри, вона, не хуже. У них же ж тоже привес важный.

Сигизмундус от этакого неожиданного вопроса слегка оторопел.

Сглотнул.

И всерьез задумался над глобальной научной проблемой: имеет ли жирность упыря значение для науки, а если имеет, то какое.

– В прошлом-то годе, помнится, поймали одного, так тощий, смердючий, глянуть не на что. – Нюся приспустила маменькин цветастый платок, который накинута на плечи для красоты.

Платок был даден для знакомства с будущим женихом, а следовательно, использовался по прямому назначению. Ярко-красный, в черные и желтые георгины, он был страсть до чего хорош, и Нюся в нем ощущала себя ни много ни мало королевой.

– Всем селом палили... ох и верещал-то...

– Дикость какая, – пробормотал Сигизмундус, в глубине души считавший себя гуманистом.

Палить... живое разумное существо... хотя, конечно, существовали разные мнения насчет того, следует ли считать упырей разумными. Находились и те, кто полагал, будто бы все так называемые проявления интеллектуальной деятельности, которые упырям приписывают, есть всего лишь остаточные свойства разума...

Себастьян мысленно застонал.

Какие упыри, когда вот-вот оженят? И сие напоминание несколько охладило Сигизмундусов пыл.

– Так а шо? – Нюся подобралась настолько близко, что протянула руку и пощупала край Сигизмундусового пиджачка. – У нас народ-то простой, вот ежели б вы были, то вы б упыря научили...

Она задумалась, пытаясь представить, чему эту косматую нелюдь, которая то выла, то скулила по-собачьи, да только от того скулежа цепные кобели на брюхо падали да заходились в тряске, научить можно.

– ...дом стеречь, – завершила Нюся.

И представила, как бы хорошо было, ежели б на цепи и вправду не Лохмач сидел, который старый ужо, глухой и лает попусту, но взаправдашний упырь...

– Или еще чему... А пиджачок вы где брали?

– На рынке. – Себастьян сумел заставить Сигизмундуса сделать шагок к свободе, сиречь к проходу.

– В Брекеleve? – поинтересовалась Нюся, назвавши самое дальнее место, из ей ведомых.

В Брекелев тятка за поросями аглицкими ездил. На подводе. Оттудова петушков сахарных привез красного колеру и рукавицы из тонкой шерсти.

– В Познаньске...

Нюся подалась вперед, тесня Сигизмундуса к стеночке – чуюло сердце девичье, трепетное, что уходит кавалер.

– В Познаньске... – Она вздохнула тяжело, как корова при отеле. – Вот, значит, чего в столицах носят...

– И-извините. – Сигизмундус изо всех сил старался не глядеть ни на лицо девицы, ни на выдающуюся ее грудь, которая прижимала его к стене поезда. – Мне... мне надобно... выйти надобно... по нужде...

Сигизмундус разом покраснел, потому как воспитанный человек в жизни не скажет даме о подобном, но иной сколь бы то ни было веский предлог в голову не шел.

Впрочем, дама не обиделась.

– До ветру, что ль? – с пониманием произнесла она.

И отступила.

Проводив будущего супруга – а в этом Нюся почти не сомневалась – взглядом, она обратила внимание уже на вещи, каковые полагала почти своими. Конечно, путешествовал дорогой ее Сигизмундус – имечко Нюся у свахи вытянула, хотя та и норовила

замолчать, да только зазря, что ль, Нюся характером в мамку пошла? – так вот, путешествовал Сигизмундус не один, но со сродственницей, каковая Нюсе не по нраву пришлась. Сразу видно – гонорливая без меры. И что толку от этакого гонору, ежели до сей поры в девках ходит?

Нюся присела на лавочку будто бы невзначай.

Нет, от этакой сродственницы избавляться надобно, да только как?

А просто... замуж ее выдать, за того самого жениха, которого для Нюси стотовили. От и ладно получится! Все довольные будут...

С этой мыслью, в целом довольно здоровой, Нюся принялась осматривать вещички. Книжки, книжки и снова книжки... куда их девать-то опосля свадьбы? Небось в избе тяткиной и без них тесно... разве что на чердак, но там чеснок мамка сушит, лук...

Или сразу на растопку определить?

Бумага-то с легкого загорается...

Сигизмундус, не ведая, на счастье свое, что судьба его и бесценных книг, купленных Себастьяном на познаньском книжном развале достоверности ради, уже решена, выбрался на перрон. Он глотнул воздуха, который после спертго духу вагона и Нюсиных телесных ароматов показался на редкость свежим, сладким даже.

Потянулся.

Поднял руки над головою, покачался, потворствуя Сигизмундусовым желаниям, а также рекомендациям некоего медикуса Пильти, утверждавшего, будто бы нехитрое сие упражнение, вкупе с иными упражнениями древней цианьской гимнастики, способствует прилитию крови к мозгу и зело повышает умственные способности.

– Что вы делаете? – осведомилась панна Зузинская, появившаяся будто бы из ниоткуда.

– Зарядку. – Сигизмундус поднял левую ногу и застыл, сделавшись похожим на огромного журавля. Руки он вытянул в стороны, а голову запрокинул, стремясь добиться максимального сходства с картинкой в брошюре.

– Как интересно. – Панна Зузинская почти не лукавила.

Выглядел ее клиент, который, правда, и не догадывался о том, что являлся клиентом, преудивительно. С другой стороны, не настолько удивительно, чтобы вовсе забыть о деле, которое и привело ее сюда.

– У меня к вам выгодное предложение, – сказала она и отступила на всяк случай, поскольку Сигизмундус руками взмахнул.

Он вовсе не имел намерения причинить панне Зузинской ущерб, но лишь попытался повторить движение, каковое в брошюре именовалось скромно – «дрожание вишневого ветви, растущей над обрывом скалы».

– К-какое?

Сигизмундус с трудом, но удержал равновесие, а ветви его рук, как и описывалось в брошюре, сделались легкими, почти невесомыми. Правда, остальное тело еще требовало приведения его в состояние высшей гармонии, после достижения которого медикус обещал чудесное исцеление ото всех болезней, а также открытие третьего глаза и высшей истины.

До гармонии, скажем так, было далеко.

– Двадцать пять злотней, – сказала панна Зузинская, отступив еще на шаг, поскольку гармонии Сигизмундус добивался очень уж активно.

Он раскачивался, то приседая, то вдруг вскакивая со сдавленным звуком, будто бы

из него весь воздух разом вышибали. Панне Зузинской были неведомы азы дыхательной гимнастики, а оттого все происходившее на перроне было для нее странно, если не сказать, безумно.

– Я дам вам двадцать пять злотней за вашу кухню. – Она выставила меж собой и Сигизмундусом сумочку. – Подумайте сами... вы, я вижу, человек свободный, не привыкший к обязательствам подобного толку... вы живете мечтой...

Пан Сигизмундус присел и резко развел руки в стороны. Сия поза называлась менее романтично: «жаба выбирается из-под илистой колоды». От усилий, страсти, с которой он выполнял упражнения, очки съехали на кончик носа, а шарф и вовсе размотался.

– Вы собираетесь в экспедицию, но с нею... с нею вы далеко не уйдете.

– Зачем вам моя кухня?

Панна Зузинская огляделась и, убедившись, что на перроне пусто, призналась:

– Замуж выдать.

– За кого?

– За кого-нибудь. У меня много клиентов, готовых заплатить за хорошую жену. Поверьте, я сумею ее пристроить...

Сигизмундус нахмурился. Был он, конечно, наивен и доверчив чрезмерно, однако не настолько, чтобы сразу отдать дорогую кухню, которую втайне полагал обузой, первой встречной свахе.

– Нет-нет, – Агафья Прокофьевна, догадавшись о сомнениях, поспешно замахала руками, – не подумайте дурного! Я лишь желаю помочь и вам, и себе. На границе множество холостых мужчин, а вот женщин, напротив, мало... а ваша кухня хороша собой, образованна... редкий случай. Потому и даю вам за нее двадцать пять злотней.

– И что мне нужно будет сделать?

Для пана Сигизмундуса, вечно пребывавшего в затруднительных обстоятельствах, сумма сия была немалой, если не сказать – вовсе огромной.

– Ничего, совершенно ничего! – Панна Зузинская, уверившись, что клиент не собирается более ни скакать, ни размахивать своими ручищами, осмелилась подступить ближе. – Как приедем, я вашу кухню к себе возьму. Обставим все так, будто бы она сама сбегла, с девками такое случается. А раз так, то какой с вас спрос? Вы, главное, искать-то ее не дюже усердствуйте... а лучше и вовсе... я вам записочку дам к человеку, который на Серые земли ходит. Он-то вас с собою возьмет, ищите свою вяжлю...

– Вяжлю, – поправил Сигизмундус, которому страсть до чего хотелось и деньги получить, и от кухни избавиться.

– Вот-вот, ее самую...

– Я... – Он поправил шарф. – Я подумаю над вашим предложением.

– Думайте, – согласилась панна Зузинская. – Но учтите, что свободных девок в том же Познаньске множество...

– Так то в Познаньске. – Себастьян не удержался.

Жалел он лишь об одном, что ныне не имеет доступа к полицейским архивам, а потому не способен точно сказать, не случилось ли в последние годы эпидемии беглых девиц...

Таких, которых не стали искать.

## Глава 4

# О волкодлаках, утренних променадах и случайных встречах

*Если ты все сделал правильно, это еще не значит, что у тебя все будет хорошо.*

*Из наблюдений закоренелого пессимиста*

Гавриил проснулся засветло.

В холодном поту.

Задыхаясь.

Он скатился с кровати и привычно под кровать же спрятался, там и лежал, прижимаясь к холодным доскам, пока не унялось беспокойное сердце. А оно не унималось долго. Вздрагивало хвостом заячьим от каждого звука, от теней шевеленья.

Мнилось – вновь идут по следу.

И видел почти что искаженные, поплывшие лица, которые уже и не лица, но морды звериные... и вздыбленную шерсть, и уши куцые, к головам прижатые. Слышал глухое рычание. Повизгивание.

Это всего-навсего шпицы панны Гуровой. Она за стенкою обретаётся, до полуночи ходила, что-то бормоча под нос. А что именно, Гавриил так и не понял, хотя слушал через вазу. Но все ж стены в доме были не такими тонкими, как ему хотелось.

И псиною пахнет оттуда же... да и вовсе, чего бояться?

Нечего.

Гавриил это знал, но ничего не умел с собою поделывать. И лежал, глядел на порог, ожидая, когда заскрипят половицы под тяжелой ногою, а вот дверь наверняка отворится беззвучно. Они всегда умели договариваться с дверями.

Шаги он услышал издалека.

Тяжкие.

Осторожные, будто бы тот, кто шел по коридору, не до конца решил, красться ему аль все ж ступать свободно, как человеку, которому нет надобности таиться.

Гавриил прижался к полу и нащупал нож. Прикосновение к теплой рукояти, которую он самолично выточил из оленьего рога, принесло некоторое облегчение. И способность дышать вернулась.

Шаги замерли.

Рядом?

Близко, совсем близко... но не у Гаврииловой двери... Выбирает? Но на улице светло... или тварь настолько стара, что способна менять обличье по собственному почину? Сердце екнуло – справится ли? Справится. Как иначе...

Вновь застонали половицы... и ручка двери качнулась. Вниз. И вверх... раздался осторожный стук... вежливая какая тварь...

Гавриил подвинул нож к себе.

И дверь отворилась. Конечно, беззвучно.

Сначала он увидел тень, огромную черную тень, что перевалила через высокий порожек, разлилась, расползлась, сделавшись подобной кляксе. Тень добралась до самой кровати, и лишь тогда Гавриил увидел того, кто сию тень с собою привел.

Тапочки.

Матерчатые тапочки в клетку, изрядно растоптанные, заношенные, не единожды чиненные. Некогда они, несомненно, были хороши, ныне же выглядели жалко. Над тапочками виднелись ноги в старых штанах из парусины... чуть выше – пуховый платок, повязанный вокруг бедер.

Пан Вильчевский спиною маялся уж не первый год, с той самой зимы, когда самолично волок на второй этаж купленную комоду. А что, грузчики-то запросили целых десять медней, невиданная наглость. Тогда-то комода, почти новенькая, почти целая – треснувшая ножка да потемневший лак не в счет, – казалась ему легкою...

Спина не согласилась.

Прихватило так, что медикуса звать пришлось. И платить... и потом еще в лавке аптекарской за снадобья... дикие у них цены. С той поры пан Вильчевский мебель самолично не двигал, а спину пользовал барсучьим аль медвежьим жиром, с бобровой струею мешанным. Снадобье выходило на редкость вонючим, но зато спину грело. А ежели поверху платок повязать из собачьей шерсти, то и вовсе ладно выходило.

Ночью пану Вильчевскому не спалось.

Стоило прикрыть глаза, как вставал перед внутренним взором злополучный окорок во всей красе. Виделась и шкурка подкопченная, тоненькая, каковая сама на языке таяла, и сальце белое, мясо темное, сахарная косточка... ее-то пан Вильчевский на щи определил, знатные получились бы...

В общем, к утру он так извелся, что действовать решил немедля.

Одевшись наспех – и платок снимать не стал, ибо спина от беспокойства внутреннего вновь разнылась, – он вышел в коридор. На цыпочках прошелся, останавливаясь у каждой двери, принюхиваясь, прислушиваясь, пытаясь понять, что за оною дверью...

Пан Зусек лаялся с супругой... он говорил что-то тонким визгливым голосом, а вот отвечали ли ему, пан Вильчевский так и не понял. Пахло из номера женскими духами.

Панна Акулина тоже не спала, хотя ж в прежние-то времена оставалась в постелях до полудню, утверждая, что будто бы за долгие годы привыкла к этакой жизни.

У панны Гуровой возились шпицы, скулили, тьякали. И значит, пропустила она утрешнюю прогулку, чего за нею не случилось в последние лет пять, а то и десять.

За дверью нового постояльца, коего пан Вильчевский постановил для себя первым подозреваемым – все ж до него не случилось в пансионе столь наглых преступлений, – было тихо. И тишина эта сама по себе казалась преподозрительной. Помаявшись несколько мгновений – они показались пану Вильчевскому вечностью, – он решился.

Постучал.

Ежели вдруг, то извинится за беспокойствие, но... окорок, бедный окорок, чье место было не где-нибудь, а исключительно в кладовой пана Вильчевского, взывал о справедливости. Или о возмездии, сиречь компенсации.

И пан Вильчевский открыл дверь.

Сперва ему показалось, что комната пуста. Он с неудовольствием отметил измятую постель, которую наверняка потребуют сменить. И сменить придется.

Стирать.



Тратиться на порошок, на прачку... белье, опять же, от частых стирок становится ветхим, а новое покупать – этак и разориться недолго.

Отметил и ботинки модные, что лежали на ковре... и костюм, брошенный небрежно. А уж после и хозяина одного костюма, который зачем-то под кровать забрался.

– Доброго утречка вам, – расплылся пан Вильчевский в улыбке.

– Доброго, – настороженно ответил жилец, не спеша, впрочем, из-под кровати выбраться.

И хорошо, что не в халате забрался. Халаты пан Вильчевский приобрел в прошлом году, когда панна Гурова заявила, что в приличных гостиницах постояльцам выдают не только мыло...

– А что вы там делаете? – Пан Вильчевский не без труда наклонился, желая получше разглядеть постояльца, а заодно уж проверить, чего это он под кроватью прячет.

Нет, окошком в комнате не пахло, но... мало ли?

– Лежу. – Гавриил чувствовал себя... неудобно.

И причиной того неудобства был вовсе не жесткий пол и не теснота – ныне ему представлялось удивительным то, как он, Гавриил, сумел да под кровать залезть.

– А почему вы там лежите? – Пан Вильчевский наклонился еще ниже.

Окорока не было, с сим фактом он почти смирился, но вот... вдруг да постоялец этот престранный забрался под кровать, чтобы там, в месте тайном, ущерб имуществу учинить?

И ножик с собой прихватил.

Небось собирался вырезать срамное слово на паркете. Мысль эта привела пана Вильчевского в состояние, близкое к обмороку.

– А... почему нет? – Нож Гавриил поспешно спрятал в рукав, кляня себя за то, что не сделал этого раньше, когда только понял, что в номер его вошел вовсе не волкодлак. – Разве в правилах пансиона есть пункт, который запрещает мне лежать под кроватью?

– Н-нет, – вынужден был сознаться пан Вильчевский. И прям похолодел весь от обиды. – Но будет! Непременно будет...

Он разогнулся, пожалуй, чересчур поспешно, поелику давний прострел ожил, вновь сгибая.

– Что с вами? – Гавриил решил, что все же убежище следует покинуть.

– Н-ничего...

Спину прихватило изрядно, и пан Вильчевский с тоской подумал, что, похоже, и на сей раз без медикуса ему не справиться. А значит, новые траты.

– Ничего страшного. – Он упер ладонь в поясницу и все ж попытался разогнуться. – Спина... б-болит...

Шел к двери пан Вильчевский неторопливой походкой, то и дело останавливаясь, чтобы дух перевести и бросить косой взгляд на того, кого втайне полагал истинным виновником всех своих бед.

Гавриил следил.

А стоило двери закрыться, как одним змеиным движением выбрался из-под кровати. Носом повел, отмечая кисловатый запах жира...

За ночные страхи было стыдно, даже подумалось, что этот престранный человек, заглянувший поутру по неведомой надобности, догадался и о страхах, и об истинной причине, по которой Гавриил оказался в сем пансионе. Но мысль эту Гавриил отмел.

Не догадался.

Вряд ли он, тщедушный, немощный даже, вовсе представляет, что в доме своем дал приют волкодлаку, иначе не был бы столь спокоен.

И все ж, для чего приходил?

Этот вопрос мучил Гавриила за завтраком – подали пшенку на молоке, а к ней слабенький кофий, тем же молоком забеленный. И после завтрака, когда он вышел на променад, не оставил.

Одевался Гавриил тщательно, чтобы, если вдруг случится нечаянная встреча с кем из постояльцев – он втайне на эту встречу очень рассчитывал, – вид у него был бы соответствующий сочиненной им гиштории.

Брюки-дудочки в узкую полоску, сами скроенные тесно, в этаких и не присядешь из опаски, как бы не треснули по шву, позор учиняя. Пиджак-визитка яркого белого колеру. Бутоньерка тряпичная, красная. Галстук шнурочком. И венцом красоты – шляпа соломенная, с высокою тульей и полями, загнутыми на лихую манеру.

По утреннему времени в парке было малоллюдно.

Бродил по дорожке седой господин в легоньком плащике. Устроилась на лавочке пара девиц в серых простых платьях. Присела у куста черемухи пожилая женщина в черном платье, не то вдова, не то экономка...

Впрочем, все эти люди мало занимали Гавриила, как и аккуратные, мощенные речным камнем дорожки парка. Путь его лежал в темные парковые глубины, под сень старых деревьев, каковые, верно, помнили не одного короля. И, свернувши на едва заметную тропу, Гавриил переменялся. Походка его сделалась легкой, бесшумной, движения – мягкими, и даже тяжелая трость, несколько вышедшая из моды, однако же в нынешних обстоятельствах совершенно необходимая, гляделась естественно.

Гавриил то и дело останавливался, вдыхал тяжелый, пронизанный сотнями самых разнообразных ароматов воздух. И шел дальше.

Уверенно.

Пусть бы место нынешнее днем выглядело совершенно иначе, и не было в нем ничего-то зловещего.

Кусты шиповника.

Азалия.

Фрезии цветущие, пушистые головки ранних астр, будто разноцветные звезды в траве... сама трава шелковая, яркая. Так и тянет присесть, пусть бы сия вольность и не принята в столицах.

Гавриил сдерживался.

Во-первых, и вправду не принята, и на брюках останутся пятна, а они, пусть и неудобственные, но все ж стоили дорого. Во-вторых, у него имелась истинная цель.

Он остановился на развилке.

Убрали... нет, престранно было бы ожидать, что тело оставят в парке или же не тело, но иные какие свидетельства недавней трагедии, о которой газеты писали много, охотно и с явным удовольствием. Но вот все же... непривычно.

Гавриил втянул воздух.

Ничего. Запахи приличные, самые что ни на есть парковые – травы, цветов и прочего благолепия.

Придет ли?

Придет. Даже если и не помнит, что сотворил, но человечью его натуру будет тянуть

к этому месту с чудовищною силой. И значит, явится... вот только когда? Сегодня? Завтра? Еще в какой день? И не выйдет ли так, что волкодлак появится именно тогда, когда Гавриил по какой надобности отлучится? Он ведь не может в парке жить-то... или может?

Гавриил задумался. В принципе существование на природе его нисколько не пугало. Ночи ныне теплые, а прочие неудобства и вовсе пустяк-с, да только крепко он подозревал, что познаньская полиция, растревоженная что убийствами, что газетчиками – последними даже больше, нежели убийствами, – отнесется к этакому престранному поведению без должного пиетета.

Еще запрут суток этак на пятнадцать.

Аль в лечебницу для душевнобольных спровадят. В лечебницу Гавриилу никак нельзя. Он поежился от нехороших воспоминаний. Оно, конечно, наставник полагал, что так лучше будет для души мятущейся, для разума, кошмарами обуянного, да только... нет, не любил Гавриил вспоминать те полгода.

Он перехватил трость, которая была тяжела не только оттого, что сделана из железного дуба и вполне годна к использованию вместо дубинки. Огляделся... и отступил.

Зеленая стена чубушника закачалась, затряслись белые гроздья цветов, и аромат их, и без того назойливый, сделался вовсе невыносимым. В кустах затрещало, после раздался тоненький визг, и из самой чащобы выкатился мохнатый ком, который распался на несколько спицев и матерого крысюка.

Шпицы рычали.

Крысюк, каковой был огромен, размером с добрую кошку, скалился и скакал. Шкура его, испещренная многими шрамами, была красна от крови. Шерсть стояла дыбом.

– Мики! Мики назад!

Голос панны Гуровой заставил псов на мгновение отпрянуть, и этого мгновения крысюку хватило, чтобы выбраться из круга. Гавриил и опомниться не успел, как тварь вскарабкалась по штанине, ловко перебралась на пиджак и вот уже сидела на плече.

От крысюка разило помойкой и свежей кровью. Да и без того запаха, несколько портившего парковую пастораль, соседство было не самым желанным.

– Брысь, – сказал Гавриил.

И крысюк ответил шипением, в котором, однако, послышался упрек: как может человек разумный, даже более того, понимающий, гнать несчастную тварь, коия очутилась в обстоятельствах презатруднительных? Шпицы, видя, что события приняли несколько неожиданный оборот, вначале растерялись. Нападать на людей, пусть бы и весьма лично им неприятных, хозяйка строго-настрога запретила. Но крысюк... он наглым образом устроился близко, так, что псы и обоняли его, свою законную добычу, и видели, а дотянуться не могли.

– Брысь, – повторил Гавриил уже шпицам, что подобрались к самым его ботинкам и глухо рычали, готовые вцепиться и в ботинки, и в тощие лодыжки этого странного человека, от которого пахло не только человеком.

Слова его не возымели ни малейшего эффекта, и Гавриил, чувствуя, что вот-вот будет атакован, перехватил тросточку поудобней. Его немного мучила совесть, потому как нехорошо это – убивать чужих собак, однако и становиться добычей он не желал.

Крысюк вздохнул. И длинные его усы пощекотали Гавриилу шею.

– Мики, назад! Мальчики, фу! – Панна Гурова выбралась из кустов и кое-как отряхнула шерстяной, не по погоде, жакет. – О, Гавриил... прошу великодушнейше меня простить... эти сорванцы совершенно теряют голову при виде добычи...

Шпицы рычали, но уже не грозно, скорее порядка ради.

– Назад, – жестче повторила панна Гурова, и псы отступили. – Я прежде волкодавов держала... да только с волкодавами в гостиницу невозможно, приходится вот...

Она подняла шпица, погладила.

– Но у этих малюток есть характер...

– А что вы... – Гавриил прикинул, что шла панна Гурова аккурат с той стороны, где совершилось убийство.

– Гуляю... выгуливаю... им нужен простор, возможность реализовать себя. Вот и приходится искать места поспокойней... – Она гладила шпица, который не спускал с Гавриила стеклянных глаз. И мерещился в них разум, если не человеческий, то весьма к оному близкий. – Но мы, пожалуй, пойдем... не хотелось бы пропускать обед... к слову, вам не кажется, что наш хозяин ведет себя несколько странно?

Гавриил пожал плечами и был наказан возмущенным писком: все ж крысюку внове было сидеть на чьем-то плече, пусть бы и было оно убежищем вполне надежным.

– Он... сам странный, – ответил Гавриил, потому как панна Гурова не спешила уйти.

И на крысу глядела спокойно, с таким даже интересом, правда приправленным толикой брезгливости.

– Это да, конечно, но ныне он более странен, нежели обычно. Представляете, пытался меня обнюхать!

А может, он?

Кандидатуру пана Вильчевского Гавриил до сего дня не рассматривал, потому как уж больно нелепым гляделся этот человек. Да и обретался он в городе давно... впрочем, как и сама панна Гурова, и ее давняя заклятая приятельница... и иные... и получается, что ошибся Гавриил, полагая, будто бы волкодлаком оказался человек приезжий...

Разве что только пан Зусек... пан Зусек, явившийся в Познаньск недавно.

С семьей.

И супругой, что глядела на него влюбленными очами, а во что там влюбляться можно было, Гавриил не знал. Он, конечно, не женщина и в них вообще мало понимает, куда меньше, нежели в волкодлаках, но вот...

– Запутано все, – пожаловался он крысюку, который не спешил оставлять безопасное место.

Оно и понятно, мало ли, вдруг да недалече ушла панна Гурова со своими шпицами, вдруг да ждут в кустах, пока беззащитное создание спустится на землю...

– Не такой ты и беззащитный. – Гавриил перехватил крысюка за шкурку, и тот лишь рывкнул, возмущаясь этакой фамильярности. Не настолько хорошо был он с человеком знаком, чтобы попускать подобное. Вот только держал его человек крепко, с умением, от такого не вывернешься. – Вона какие зубы...

Зубы были знатными, длинными, желтыми.

– Ладно... иди уже... – Гавриил поставил крысюка на землю. – Ушли они...

Крысюк прислушался.

Тишина. Ветерок чешет тяжелые космы дерев, играет с глянцевою листвою. Где-то далече слышится смех и лай... но не шпицев.

– Иди, иди. – Гавриил отступил, давая твари свободу. – И постарайся не попадаться...

Крысюк не заставил себя уговаривать. Исчез.

Гавриил со вздохом – ныне затея его более не казалась столь уж удачною – продолжил

путь. И нисколько не удивился, почти не удивился, увидав панну Акулину. Она, увлеченная беседою с усатым брюнетом весьма и весьма мужественной наружности, Гавриила и не заметила.

Он же, скользнувши взглядом и по брюнету, и по букету в руках панны Акулины, проходя отметил, что букет оный составлен исключительно из синего любоцвета, именуемого в простонародье волкодлачьим цветком...

...пан Жигимонт играл в шашки сам с собою, выбравши для сего занятия не удобную лавочку, из тех, что стояли на центральных дорожках, но тихий газон. И не побоялся же измазать светлые брюки...

...пана Зусека Гавриил нашел у фонтана.

– Доброго дня. – Гавриил поприветствовал соседа поклоном. – Вижу, и вы прогуливаетесь...

– Погода замечательная. – Как ни странно, но Гавриилу появлению пан Зусек явно обрадовался. – Такой погодой дома сидеть грешно.

Время близилось к полудню.

Солнце, и без того яркое, разошлось вовсе бесстыдно. И парило, жарило, предвещая скорую грозу, быструю, как все летние грозы. Притихли пчелы, бабочки и те исчезли, и даже птицы смолкли.

– Да вот... я тоже решил... – Гавриил повел плечами.

Неудобный костюмчик, сшитый из отменнейшей аглицкой ткани, оказался негоден для познаньского лета. Гавриил с неприязнью ощущал, как ползут по спине ручейки пота и рубашка липнет к разопревшей шкуре.

– Чудесно... чудесно... признаюсь, я сбежал. – Пан Зусек дернул галстук, тоже новомодный, шнурочком, а оттого казавшийся самому Гавриилу в высшей степени нелепым. Но надо сказать, что наряд – и светлый пиджак с завышенной талией, и галстук этот – смотрелись на пане Зусеке донельзя гармонично. – Устал я... женщины порой... так утомляют...

– Ваша жена...

– Утомляет не меньше, нежели прочие женщины... не подумайте, что я жалуюсь. Из всех зол я выбрал наименьшее. Она меня любит, но это чувство примитивно. Женщины вообще на редкость примитивные существа.

– Неужели?

Пан Зусек будто и не слышал. Смотрел он не на Гавриила, но на девушек, что неторопливо прогуливались по дорожке, за руки взялись, щебечут... подруги?

– О да, вы ведь не сторонник этих странных идей равноправия? Помилуйте, на кой женщине нужны права...

– Не знаю.

Одна была высока, светловолоса... и, пожалуй, красива, насколько Гавриил понимал в женской красоте. Другая худошава, смугловата. Волосы темные, заплетены в простую косу. Платье простое... и ничего-то в ней нет, но взгляд пана Зусека женщину не отпускал и был почти неприличен.

И лишь когда она, ощутив на себе этот взгляд, обернулась, он встал.

– Весьма характерный типаж. Познаньский душитель предпочитал брюнеток. Вы знали?

– Нет.

– Этот парк – весьма примечательное место. Первую жертву нашли именно здесь...

не желаете взглянуть на место? С виду обыкновенная лавочка... и, представьте, каждый день люди гуляют по этой вот дорожке... – Шел он быстрым, отнюдь не прогулочным шагом. – И садятся на эту вот лавочку, не понимая, что всего-то несколько лет тому здесь рассталась с жизнью женщина...

К лавочке он прикасался нежно, едва ли не с трепетом. И выражение лица сделалось задумчивым, мечтательным даже. Взор затуманился, словно бы пан Зусек представлял себе что-то этакое, едва ли приличное.

– Она умирала долго... он ведь не сразу душил... этих подробностей газеты не знали, но мне удалось получить кое-какие документы. Он позволял им почти умереть, а после – сделать вдох, поверить, будто бы спасение возможно... и вновь... раз за разом... пока у них оставались силы бороться за жизнь.

Пан Зусек облизал губы.

– А хотите, я покажу вам еще одно место?

– Хочу, – согласился Гавриил. – Вы... очень увлекательно рассказываете.

– Увлекательно... и вправду увлекательно... вы себе представить не способны, до чего занятное местечко, этот самый парк... вот дуб... – Чтобы пройти к дубу, пришлось свернуть с дорожки. – Под ним оставлял свои жертвы Мирочинский маниак... этот не душил, резал... и после снимал кожу. Выбирал, к слову, исключительно темноволосых женщин... в том есть свой смысл... многие полагали, будто бы цвет волос прямо соотносится с цветом души. И чем волос темней, тем сильнее Хельмова власть над человеком...

Пан Зусек ласково провел ладонью по корявой ветке дуба.

– А далее, там, – он махнул рукой куда-то вглубь парка, – орудовал Мясник... на самом деле он был медикусом, но газетчики дали иное прозвище. Резал блудных девиц. И так тела разделявал, что и бывалые людишки в ужас приходили... к слову, его бы не нашли, когда б не случай.

Ему нравилось все это, разговоры о безумцах, о совершенных ими убийствах, которые самому Гавриилу казались отвратительными. Однако же пан Зусек говорил страстно, с немалым пылом. И взгляд его, затуманенный, задурманенный, надо полагать, видел то, что происходило некогда.

– Она лежала вот здесь. – Он присел и провел ладонью по пыльной траве. – Вы только вообразите себе... белое-белое тело... а на шее – алая лента... волосы разметались шелковым покровом... он признавался, что расчесывал их и с каждой отрезал по прядочке. У меня вот есть одна...

Из внутреннего кармана пан Зусек достал солидное портмоне, а из него уже шелковый платочек. Из платочка появилась прядка русых волос.

– Вот, – он продемонстрировал ее, будто бы она была величайшим сокровищем, – смотрите... разве она не прекрасна?

Гавриил кивнул.

Прекрасна.

Он ведь желает услышать именно это... и, услышав, приходит в неопишуемый восторг.

– Я знал! – Пан Зусек прижал платочек с прядью волос к щеке. – Я знал, что найду того, кто поймет меня... эти женщины... они слишком примитивны. Я привязан к супруге, но она полагает мое увлечение блажью. Слушать о нем не желает! Видите ли, сие слишком омерзительно... а вы... вы поняли...

Понял.

И понимание, на Гавриила снизошедшее, вовсе его не радовало.

Кем бы ни был пан Зусек, волкодлаком ли, просто безумцем – а человек нормальный не будет увлекаться вещами столь ужасающими, – к нему стоило приглядеться поближе. В конце-то концов, из всех обитателей пансиона он единственный прибыл в город недавно...

– У меня и лента имеется... та самая, которую... – Обретши благодарного, как ему мнилось, слушателя, пан Зусек воспрянул духом. – Вы ведь слышали о Душителе? Конечно, его спровадили на плаху задолго до вашего рождения, но личность одиозная даже среди маниаков... Я беседовал с нашим паном Жигимонтом. Он помнит, как Душителя четвертовали... не поглядели, что знатного роду...

Он бережно завернул платочек, сунув в портмоне, а то отправил в карман. Зато протянул руку, позволяя Гавриилу полюбоваться серебряным перстнем.

– Это от Палача... двести лет тому... один из первых, о ком заговорили по всему королевству... казнил колдовок... так ему мнилось. На деле-то обыкновенными женщинами были... к слову, тоже выбирал себе худощавых брюнеток... вот как эта, к примеру...

Он указал на девушку, что медленно ступала по дорожке.

– Хороша... – Пан Зусек облизал губы и перстенок крутанул.

Хороша. Красива, пожалуй, слишком уж красива. Гавриил этаких, красивых, всегда опасался с той самой своей первой неудачной любви...

– Идеальна почти...

Девушка шла медленно, не замечая никого и ничего вокруг, всецело погруженная в свои мысли. И Гавриилу вдруг захотелось заглянуть в эти самые мысли, хотя бы затем, чтобы очиститься от иных, навязанных паном Зусеком.

Он смотрел на незнакомку, на зеленое платье ее, расшитое крохотными маргаритками, на шляпку соломенную модели «Плезир», на кружевной зонтик... вот на лицо глядеть опасался, чудилось – заметит.

– Она здесь часто гуляет. – Пан Зусек вертел перстень. – Почитай каждый день... когда утром, а когда к вечеру ближе. И всегда одна. Редкостная неосмотрительность...

Девушка свернула с дорожки куда-то вглубь парка.

А пан Зусек, проводив ее взглядом, повернулся к Гавриилу:

– Существует теория, конечно, она совершенно непопулярна среди тех, кто именует себя учеными мужами, в силу своей некоторой одиозности... так вот, сия теория утверждает, что будто бы маниаки – это своего рода сверхлюди. Среди всего человеческого стада они выискивают слабых, негодных или же тех, кто представляет для одного стада опасность...

Он шел, то и дело оглядываясь, будто бы надеясь вновь увидеть ту девушку...

– И, таким образом, приводят в действие механизмы социальной эволюции. Вы ведь читали о социал-дарвинистах?

– Нет.

– Ничего... не самая популярная теория у нас. Вот за границей, знаю, социал-дарвинисты весьма уважаемы. А в Африке-с цельный институт открыт по изучению проблем, и эта новая египетская теория, как по мне, удивительна в своей простоте и логичности. Ведь действительно, если боги наделили человека разумом, то грешно не использовать его для улучшения человеческой же породы...

Он вновь переменялся, точно разом позабыв о той девушке с зонтиком, ныне увлеченный новой историей. Вот только Гавриил был уверен: все это – притворство.

И не забыл пан Зусек.

Не забудет и Гавриил. Ныне же наведается в городскую библиотеку... кто сказал, что волкодлаки убивают исключительно в волчьем обличье?



# Глава 5, в которой повествуется о некоторых весьма естественного свойства трудностях, кои встречаются при пересечении границы

*Когда на улице процветает разврат, крайне важно знать,  
на какой именно.*

*Из речи пана Загней-Бородько, внештатного  
корреспондента «Охальника», обращенной к младым  
и неопытным специалистам, кои были отданы под крыло  
пана Загней-Бородько распоряжением главного редактора  
для профессионального роста и обретения должного  
опыта*

– Дуся, вставай, – шепотом произнес Себастьян и еще пальцем ткнул, хотя Евдокия проснулась еще тогда, когда вагон остановился.

Следовало заметить, что остановка сия не была предусмотрена расписанием, а потому сразу показалась Себастьяну донельзя подозрительной.

За окном была ночь. Темень. Звезды.

Луна кособокая, которая умудрялась заглянуть в проталину на грязном окне. По дощатому полу ползла белая дорожка света, глядевшаяся одновременно и зловещей, и загадочной.

Люди не спали.

Себастьян чувствовал их дыхание, и обеспокоенность, и недовольство... и даже страх. Не тот страх, который заставляет цепенеть, лишая что воли, что сил, но иного свойства, подталкивающий к деяниям вовсе безумным.

Кто-то вздохнул. Кто-то поднялся, но тут же сел. Запахло сигаретным дымом, и тоненький девичий голосок затянул было молитву Иржене, да она оборвалась резко, нитью.

– Прошу сохранять спокойствие. – В черном проходе появился проводник. Фигура его, очерченная единственно светом масляной лампы, казалась на удивление огромной, будто бы за прошедшие часы человек мало того что вырос на полголовы, так изрядно раздался вширь.

– Что происходит? – нервически поинтересовался мужской голос.

И вспыхнул еще один огонек, на сей раз бледно-зеленый, самого что ни на есть магического свойства. Любопытно. Выходит, паренек-то непростой... нет, в том, что простых людей в оном вагоне нет, Себастьян не сомневался и Сигизмундуса с его бурчанием, что подобное любопытство ни к чему хорошему не приведет, заткнул.

– Приграничный досмотр.

Евдокия села. Сонно потянулась и так же сонно спросила:

– А нам не говорили, что досмотр будет. – Голос ее был капризен.

– Новое распоряжение...

– Я, может, не хочу, чтобы меня досматривали...

Проводник не поленился надеть форму железнодорожного ведомства. А форма-то новая, необмятая... значит, досматривать будут не свои...

– Ежели панночка не желает быть досмотренною, то пускай скажет о том войсковым. Всех прошу покинуть вагон...

– Все хорошо. – Себастьян подал руку. – Главное, не нервничай... и не спеши.

Первой из вагона вышла панна Зузинская с выводком невест. И Нюся не упустила случая одарить коварного обманщика, каковым она вполне искренне полагала Сигизмундуса, гневливым взглядом. Это ж надо было такому случиться, чтобы взял да порушил светлые девичьи мечты.

Планы расстроил.

Она уже, может, придумала себе не только жизнь до самой старости, но и похороны сочинила, красивые, с песнопениями, жрецом из соседних Гостюшек да блинною неделей. А он, поганец этакий, и не глядит в Нюсину сторону. Не жрец, конечно, студиозус. Небось из-за сродственницы своей, которая про Нюсю гадостей наговорила... а как иначе-то?

– Погоди еще. – Себастьян придержал Евдокию, пропуская и молчаливую девицу, и монахинь, и печального некроманта, на лице которого застыло выражение мрачной решимости.

Никак из дому сбег.

– Веди себя естественно...

– Это как? – Евдокия с трудом подавила зевок. Даже совестно стало: ночь, досмотр непонятный, все переживают, а ее вот в сон тянет.

– Как до того...

– Думаешь...

– Полагаю, – Себастьян прихватил кожаный портфельчик с оторванной ручкой, – что существует некая вероятность, что меня... скажем так, желают вернуть на путь истинный. Всего-то и надо, что передать прямой приказ, печатью заверенный. Дуся... вот чтоб я хоть раз еще кровью поклялся!

Он спустился по шаткой лесенке первым и был столь любезен, чтобы руку подать.

– Где это мы? – Евдокия спросила чуть громче, чем следовало бы, и ей ответили:

– Петушки...

Петушки были деревней, небольшою, в два десятка дворов, тихою. Невзирая на близость к границе, жизнь здесь текла мирно, неторопливо, и оттого появление королевских улан вызвало небывалый доселе ажиотаж. Девки радовались. Парни были мрачны. Староста мысленно считал убытки, прикидывая, сумеет ли добиться от казны возмещения оных...

– Доброй ночи, панове, – громко возвестил улан в малом чине, и на голос его дружным хором отозвались деревенские собаки.

Себастьян лишь фыркнул и локтем Евдокию подпихнул.

– Что происходит?!

Вывели лишь тех, кто обретался в вагонах второго и третьего класса. Однако и оказавшись вне поезда, люди держались своих вагонов, не то из опасения потерять их во тьме, не то из нежелания мешаться с теми, кого полагали ниже званием.

И бледная панночка, вида не то очень уж благородного, не то замороженного, повисла на руке серьезного господина. Этот, судя по выправке, из военных и пусть бы путешествует всего-то вторым классом, но скорее из соображений экономии, чем от недостатка средств.

Стоит. Хмурится. Молчит.

Переминается с ноги на ногу пухленький господин, вертит растерянно головою, щурится. На голове господина – ночной колпак, на ногах – тапочки вида самого домашнего, на плечах – шаль женская, с кистями. И вид собственный, и то, что иные люди стали свидетелем оно, господина смущают донельзя. Он то втягивает живот, стремясь казаться стройней, то, напротив, горбится, кутается в шаль, будто надеясь, что она поможет исчезнуть...

Себастьянов взгляд ненадолго остановился на женщине в годах, в черных траурных одеждах да с толстенным кошаком на руках. Кошак к суете относился с редкостным безразличием, верно полагая, что она его не касается. Его хозяйка озиралась, и на сухом, костлявом ее лице застыло выражение крайнего недовольствия...

Меж тем улан широким шагом прошелся вдоль шеренги и вернулся к Евдокии.

– Происходит, дорогая панночка, – сказал он громко, так, что слова его услышали не только пассажиры, но и притихшие было петушковские кобели, – то, что по распоряжению тайной канцелярии каждый пассажир, каковой следует до Серых земель, подлежит личному досмотру.

Улан крутанул ус и панночке подмигнул. А что, хороша! Кругла. Грудаста. И коса вон до самой земли...

– Это по какому же праву? – поинтересовалась панночка, распоряжением тайной канцелярии не впечатленная. – И что значит, «личный досмотр»? В вещи мои ползете?

– И в вещи тоже. – Улан крутанул второй ус. Привычка сия появилась у него после знакомства с одною вдовушкой, дамой сурьезных габаритов и намерений, каковой весьма и весьма оные усы по сердцу пришлись. – Однако найпервейшим делом мы осмотрим каждого пассажира... и пассажирку...

Он обвел людей взглядом, каковой сам полагал престрогим.

– ...на предмет наличия хвоста.

Люди загомонили.

И пухленький господин в ночном колпаке сказал:

– Произвол!

Господин сей путешествовал не просто так, но по заданию редакции. А служил он в «Познаньской правде», солидном, не чета «Охальнику» и иным желтым листкам, издании, чем гордился немало. Правда, гордость сия мало утешала в командировке, каковую господин полагал едва ли не ссылкой, и ссылкой бессмысленною, ибо что может произойти на Серых землях? Он писал дорожные заметки, где с одинаковым рвением ругал что черствые пирожки, что железнодорожное управление...

– Произвол! – Неожиданно для самого господина, который, признаться, втайне властей побаивался, особенно в ситуациях, когда оные власти имели численный перевес, его поддержали: – Совершеннейший произвол!

Господин покосился на улана, коего эти восклицания впечатлили мало. Он гражданских недолюбливал огульно, не деля на сословия и возраст. Однако из всех нынешних его подопечных особо выделялся тощий студюзуз в синих очочках.

А ведь ночь на дворе!

– Что вы собираетесь искать? – очень уж громко поинтересовалась панночка, которую пренеприятный типус держал за руку. – Хвост?

– Это розыгрыш? – подал голос военный, и улану разом захотелось сказать, что пан не ошибся, что оно и в самом деле розыгрыш... шутка дурная... вот только ведомство,

за престранным этим распоряжением стоявшее, шутить не умело вовсе.

– Это приказ. – Улан вдруг ощутил свою никчемность.

И беспомощность.

И разом вспомнилось, что на границе он первый год и до сего дня собственно с границей не сталкивался, почитая то превеликим везением. А тут в серых глазах человека, явно из своих, которому бы уразуметь, что уланы – люди подневольные, он прочел, что после нонешней ночи его карьера претерпит некоторые изменения.

– Приказ, – повторил улан и ус крутанул, придавая себе же храбрости.

В конце концов, он же не просто так стоит, а на страже интересов родины, сколь бы престранными сии интересы ни выглядели на первый-то взгляд.

И нижние чины смотрят. Коль пойдет на попятную, в жизни не простят... будут сказывать, пока правдивая история в байку не превратится, которых по уланским-то полкам множество гуляет... а главное, опосля этакого позору только в отставку и подавать, поелику даже писари всерьез принимать не станут.

– Приказ! – рывкнул улан, дергая себя за второй ус.

– И как же вы собираетесь этот приказ исполнять? – еще громче поинтересовалась девка с косою.

Более она не казалась улану привлекательной, напротив, в ней он вдруг узрел воплощение всех былых опасений. А верно гадалка сказала, что сгинет он из-за бабы... Вот этой, любопытной, вопросами своими иных баламутящей...

– Обыкновенно... юбки подымете...

Охнула бледненькая девица, осев на руке офицера.

– Господа хорошие! – тотчас возопил студиозус и тощую грудь выпятил, сделавшись похожим на щуплого деревенского петушка, который только и гораздый, что орать. – Да что же это творится!

Господин вытацил из-под ночного колпака кристалл, который сдавил в руке. Матерьяльчик наклеывался прелюбопытный, не чета черствым пирожкам и хамству проводников. Это ж целый разворот занять можно будет.

Произвол властей.

Самоуправство... оскорбление чести и достоинства... тайная канцелярия охотится за простыми людьми... никто, обладающий хвостом, не может чувствовать себя в безопасности.

Строки статьи, которая принесет если не славу непримиримого борца за права простых граждан и демократические идеалы, то всяко достойный гонорар, что было в нынешних обстоятельствах куда важней.

– Доколе?! Я вас спрашиваю, доколе... – Студиозус воздел руку над головой, говорил он страстно, с вдохновением, и поневоле пассажиры, в большинстве своем скорее озадаченные, нежели возмущенные, прислушивались к его словам. – Мы будем терпеть унижения?

– Заткнись... – прошипел улан и шагнул было к студиозусу, который от этого малого движения поспешно отпрянул, оказавшись за спиной решительного вида девицы.

– Притеснения властей! И всякого, кто мнит себя властью! – из-за широких девичьих плеч выкрикнул студиозус. – Неужто и далее молча, безропотно, подобно овечьему стаду снесем мы этакий позор?!

– Да у меня приказ! – Улан, понимая, что добраться до студиозуса не выйдет – не драться же с девокою в самом-то деле, вытацил бумагу с печатью. – Проверить каждого!

Без исключения!

– И проверять, сколь понимаю, вы собрались лично? – подала голос вдова, а кошка ее, приоткрыв левый глаз, протяжно мяукнул, верно, присоединился к вопросу. В отличие от людей, он хвоста не скрывал и не стыдился.

– Н-ну... д-да... – Под взглядом женщины, которая была не просто женщиной, а офицерскою вдовой и офицерскою же тещей и ныне следовала до Журовиц, где квартировался полк зятя, улан окончательно смешался. – Так... кому ж еще...

– Извращенец! – тоненько воскликнул студиозус.

Ахнула немочная девица, которая удерживалась от обморока исключительно немалым усилием воли, и не от храбрости, но от любопытства. Доселе жизнь ее не баловала событиями столь волнительными.

– Я не извращенец! – Улан отчаянно покраснел. – Я приказ...

– А кто? Разве не вы собираетесь лезть под женские юбки?!

– В интересах короны... – прозвучало жалко.

– Небось и в панталоны заглядывать станете... – продолжил студиозус, и говорил он громко, так, что слышали его не только пассажиры и петушковские кобели, но и все петушковцы, до сего дня и не подозревавшие за уланами таких намерений. – А то вдруг да хвост в них прячется...

– Так...

Про панталоны улан не подумал. А подумав, согласился, что звучит сие по меньшей мере странно, хотя и логично... в приказе-то не уточняют, какой хвост искать. Может, махонький он, навроде свинячьего? Аль вообще огрызком...

Офицер, супруга которого все ж изволила сомлеть, нахмурился.

– Какой кошмар! – громко произнесла девица с косой. – Какой позор...

– Отвратительно. – Офицерская вдова отпустила кошака, который, впрочем, обретенной свободе вовсе не обрадовался. – Вы и вправду собираетесь сделать это? Где?

– З-здесь...

Улан вдруг подумал, что задание, казавшееся поначалу нелепым, однако простым, на деле обещало множество сложностей.

– То есть, – сухой строгий тон вдовы заставил его тянуться и вытягиваться, – вы полагаете, что приличные женщины станут раздеваться прямо здесь...

Она ткнула пальцем на обочину дороги, пропыленную, грязную, обыкновенную такую обочину.

– На глазах у всех мужчин? Посторонних, прошу заметить, мужчин...

Кто-то взвизгнул.

И Нюся, решившись – а что, все стыдливые, чем она хуже? – заголосила:

– Ой, мамочки... ой, что деется, что деется... – Голос у Нюси был хороший, громкий, ее в родном-то селе завсегда по покойнику плакать звали, потому как жалостливо выходило. И громко, конечно. – Опозорить хотят... по миру пустить...

– Прекратите! – не очень убедительно произнес улан и за саблю схватился, не потому как желал применить – применять оружие супротив гражданских было строго-настрога запрещено, – но прикосновение к рукояти его успокоило.

Но только его.

Поддерживая Нюсю в благом ее начинании, завыли девки-невесты, и панна Зузинская заговорила тоненько... верещал студиозус, взывая в едином порыве подняться против

властей...

Офицер крутил ус, глядя все более недобро.

Вдовица наступала...

– ...вы требуете невозможного... и сомневаюсь, чтобы корону действительно интересовали женские панталоны...

– ...совершеннейшее беззаконие...

– Послушайте... – Улан обратился к монахиням, которые молчали, стояли себе, смиренно потупив взоры... – Вы же понимаете, что мне надо...

И, наклонившись, за рясу уцепился, дернул вверх.

– Богохульник! – тоненько взвизгнула монахиня, отскакивая.

– Извращенец! – Студиозус не упустил случая. – Ничего святого нету!

Вторая монахиня, верно решив, что увещевания делу не помогут, обрушила на макушку улана зонт.

– Прекратите! – Улан от зонта увернулся. – Немедленно!

– Представители властей нападают на беззащитных монахинь... – Студиозус умудрился свернуться между монахинями, которые как раз особо беззащитными не выглядели, напротив, улану вдруг подумалось, что сестры сии в комплекции мало ему уступают. – Прилюдно срывают с них одежды...

Господин в ночном колпаке кивал, радуясь, что такие пассажи не пропадут втуне... а ведь звучит.

Трагично звучит.

Только надо будет отписаться, дабы редактор не фотографии оставил, но рисунки... художник при «Познаньской правде» служил знатный, мало того что талантливый, так еще и способный уловить те самые нюансы подачи материалу, которые и вправду важны для газеты.

– Насилие вершится темной ночью...

– Ой, маменька... ой, родная... – выли девки, и подвывали им кобели...

– Извольте объясниться! – Рык офицера, который окончательно перестал понимать, что вокруг происходит, заставил и кобелей, и девок примолкнуть.

Но вот вдовица оказалась к оному рыку нечувствительная.

– Известно что... этот, с позволения сказать, господин собирается залезть под юбку вашей жене...

Упомянутая жена охнула и вновь попыталась было лишиться чувств.

– Исключительно в интересах короны... – сказал улан и сразу понял, насколько был не прав...

...поезд продолжил движение спустя четверть часа. На память об этой встрече у улана остались сломанный нос, подбитый глаз и тихая ненависть к студиозусам и монашкам...

В тамбуре грохотало, сквозило и еще пахло преомерзительно не то железом раскаленным, не то деревенским туалетом, а может, и тем, и другим.

Себастьян стоял, прислонившись лбом к двери.

Вагон трясло, и Сигизмундус выглядел донельзя опечаленным. Нюсе аж совестно сделалось, хоть бы и не видела она за собою вины.

– Пирожку хотитя? – спросила она, не зная, как еще завести беседу.

– Хочу. – Сигизмундус и руку протянул, правда, пирожок принявши, жевал его без охоты,

будто бы сквозь силу.

И Нюсе еще подумалось, что зазря она того дня всех товарок пирожками мамкиными потчевала. Небось следовало б приберечь... мамкины-то пирожки – не чета местечковым, на прогорклom масле печеным да с начинкою неясною. Даже полежавши денек-другой, вкусными были б...

...глядишь, и прикормила б жениха.

Верно мамка сказывала, что мужик, он дюже до еды охочий.

– Не спится? – Сигизмундус облизал пальцы, к которым привязался мерзкий запах.

Чувствовал он себя престранно.

Прежде, если женщины и глядели на него, то снисходительно или же с насмешечкой, а вот Нюся...

Себастьян вздохнул.

Не хватало еще роман завести дорожный... глазами Сигизмундуса Нюся была хороша, круглотела, круглолица и с пирожками, которые, следовало признать, на студиозуса воздействовали почти как зелье приворотное.

– Растрясли, – доверительно произнесла Нюся и потянулась, зевнула широко. – А я так неможу... как посну, так посну, а кто растрясет, то потом всю ночь и маюся...

Она повела плечами, и цветастая шаль с бахромой соскользнула, обнажая и шею, и плечи.

Платье сие, прикупленное Нюсей на последней ярмарке, втайне от тятки, каковой бы подобного сраму не одобрил бы, являлось воплощением всех ее тайных девичьих грез. Сшитое из блескучей хрусткой ткани, колеру ярко-красного, оно плотно облегалo нестройный Нюсин стан, а на грудях и вовсе сходилось с немалым трудом. Зато оная грудь в вырезе – а вырез был таким, что Нюся сама краснела, стоило взгляд опустить, – гляделась впечатляюще.

Сигизмундус застыл. И побледнел.

Впечатлился, наверное... а Нюся провела ручкою по кружевам, которые самолично нашивала в три ряда, чтоб, значит, побогаче оно гляделось.

Ох и разгневался бы тятка, когда б увидел дочку в таком наряде... ему-то что, небось всей красоты – чуб салом намазать да портки перетянуть дедовым шитым поясом. Невдомек, что в нынешнем мире девке надобно не на лавке сидеть, семечки лузгая, а рухавою быть.

Предприимчивой.

Это слово Нюся приняла вместе с платьем...

– Ох и тяжело мне, – доверительно произнесла она. А вагон, как нарочно, покачнулся, подпрыгнул, и Нюся весьма своевременно на ногах не устояла, покачнулась да прикачнулась к Сигизмундусу. – Ох и томно... в грудях все ломит...

Сигизмундус сглотнул.

– От тут. – Нюся похлопала рукою по груди, на которой самолично намалевала родинку угольком. Благо на станции угля было вдоволь, хватило и на родинку, и брови подчеркнуть, и ресницы смазать.

Небось не хуже вышло, чем если б взяла тот, который ей с платьем всучить пытались. Нашли дуру... за уголь полсребня платить.

– И сердце бухает...

Сердце и вправду бухало, не то от волнения, не то само по себе. И ладони Сигизмундуса вспотели. Неудобно ему было. Во-первых, девка оказалась тяжелою, куда тяжелей сумки

с книгами, а во-вторых, к Сигизмундусовым костям она прижималась страстно, со всем своим нерастраченным девичьим пылом. И главное, вдавила в грязную стену, которую Сигизмундус ныне ощущал и спиною, и ребрами, и прочими частями тела.

– В-вы... – он сделал вялую попытку девицу отодвинуть, – в-вам... прилечь надобно...

– Экий вы... быстрый, – томно дыхнула чесноком Нюся.

Но предложение в целом ей понравилось.

– Я... – Сигизмундус почувствовал, что краснеет. – Я не в том смысле, чтобы... мы в том смысле недостаточно хорошо друг с другом знакомы... но если сердце... то прилечь надо бы... отдохнуть...

Вот что значит человек ученый, вежливый, небось не только с упырями обходительный. Под локоток поддерживает, в глаза глядит, слова красивые лепечет. И к двери подталкивает, в вагон, значит.

В вагон Нюсе возвращаться не хотелось.

Во-первых, в вагоне народу прорва, пусть и ночь глухая на дворе, но, как знать, все ли спят. А ежели и спят, то проснутся... и ладно бы просто какие людишки, так ведь и сваха может. Она же Нюсе еще тем разом внушение делала, говорила долго, нудно про честь девичью и обязательства.

Во-вторых, Нюся не какая-нибудь там бестолковая девка, которую забалакать можно. С мужиками, маменька говаривала, ухо остро держать надобно. Вот они тебе про любви сказки поют, а вот уже и сгинули. Нет уж, Нюся своего счастья не упустит, хоть бы оное счастье и глядело на нее поверх очочков с неизъяснимою печалью во взоре.

– Та не, – отмахнулась она и нехотя отступила.

Нечего мужика баловать. Пушай смотрит. А как наглядится, всецело осознает, сколь хороша Нюся – а в платье этом, с голыми плечами, с мушкой на грудях, она сама себе чудо до чего раскрасивою представлялась, – тогда, глядишь, и заговорит серьезно.

– Здоровая я... – Она шаль еще приспустила.

От погляду ущербу, чай, немашечки... эх, а глядишь, когда б хватило Нюсе окаянства платьице сие надеть да пройтися по селу гоголихою, тогда, может, и ехать никудашечки не надо было б. А что, небось свои-то деревенские хлопцы этакой красоты отродясь не видывали, разве что на городских барышнях, а на тех-то не поглазеешь... да и чего глазеть?

Нюся сама видала. Городские тощие все, заморенные.

Небось толку от такой жены... ни корову не подоит, ни свиньям не замешает...

– Бывало, с папенькой на сенокос пойдем, так он за день умается, а я – ничего. Вопрею маленько, да и только-то... а вам случилось сено косить?

– Нет, – признался Сигизмундус, которому наконец дозволено было вздохнуть полной грудью.

– Я и вижу... вы – человек иной, образованный...

– Зачем вы с нею едете?

Сигизмундус не находил в себе сил отвести взгляда от монументальной Нюсиной груди, которая при каждом вдохе вздымалась, тесня клетку из дешевого атласа и кружева.

– С кем?

– С панной Зузинской. – Потеснить Сигизмундуса, очарованного подобным дивным видением, оказалось непросто. – Вы... девушка... весомых достоинств...

– Семь пудочков, – скромно потупилась Нюся.



– Вот! Целых семь пудочков одних достоинств... – Сие прозвучало донельзя искренне, поелику сам Сигизмундус в это верил. – И едете куда-то...

– В Понятушки...

– В Понятушки. – Говорить было нелегко, мешал Сигизмундус со своею разгорающейся влюбленностью, которая несколько запоздала, а потому подобно ветрянке или иной какой детской болезни грозила протекать бурно, с осложнениями. – Неужто не нашлось кого... кого-нибудь... достойного... вас...

Каждое слово из Сигизмундуса приходилось выдавливать.

И Себастьян почти проклял тот миг, когда вздумалось воспользоваться именно этой личиной. А ведь представлялась она удобною именно в силу обыкновенной покорности той, другой стороны, которая ныне настоятельно требовала пасть к ногам семипудовой прелестницы да сочинить в честь ея оду.

Классическим трехстопным ямбом.

Или, того паче, неклассическим логоэдом.

А главное, что собственная Себастьянова поэтическая натура, несколько придавленная прозой криминального познаньского бытия, к мысли подобной отнеслась с немалым энтузиазмом.

– Так это... не хотели брать, – вынуждена была признаться Нюся. – У меня же ж и приданого сундук имеется... два!

Она показала два пальца.

– Тятка и корову обещался дать на обустройство...

Нюся тяжело вздохнула, и платью на ней опасно затрещало, грозя обернуть сей вздох локальною катастрофой. Впрочем, думалось вовсе не о катастрофе, но о своем, девичьем, и думалось тяжело. Не расскажешь же будущему жениху, что, невзирая на корову – а корова-то хорошая, трехлетка, с недавнего отелившаяся, – женихи Нюси сторонились. Разве что Матвейка зачастил, да только Нюся сама его погнала, ибо поганец каких поискать. Такому волю дай, мигом пропьет и корову, и саму Нюсю с двумя сундуками ее приданого.

– Так ить... сваха солидного обещалась...

– И не только вам.

Нюся пожала плечиками. Оно-то верно, хотя ж тех, других, девок, с которыми выпало ехать, Нюся не знала и, положила руку на сердце, знать не желала. И вовсе в дружбу промеж девками не верила, ибо видела не раз и не два, что энтой дружбы – до первого жениха...

– Скажите... а вы давно ее знаете?

– Кого?

– Панну Зузинскую. – Сигизмундус был обижен, потому как не имелось у него настроения для деловых бесед, а строки оды, той самой, которую писать надобно ямбом, не складывались, во всяком случае не так, как должно.

– Дык... давно... уж месяца два почитай. Она с тяткой на ярмарке еще стоворилась... и взяла недорого...

– Два месяца. – Сигизмундус престранно дернулся, но тут же застыл, едва ли не на вытяжку. – Вы знаете ее всего два месяца и отправились неизвестно куда?

– Чегой это неизвестно? – удивилась Нюся.

Удивила ее вовсе не тема разговора, но то раздражение, которое прозвучало в голосе тихого Сигизмундуса. Он, оказывается, и кричать способный...

– Известно. В Понятушки.

А может, и к лучшему? Тятка вона тоже случается, что на маменьку крикма кричит, а бывает, что и по столу кулаком жажнет. Норов таков...

– А вы не думали, что в этих самых Понятушках вас может ждать вовсе не жених.

– А кто? – Нюся нахмурилась.

– Ну... – Сигизмундус замялся.

Он не мог оскорбить слух своей прекрасной дамы наименованием места, в котором зачастую оказывались девы юные и наивные. И нежелание его было столь сильным, что Себастьян зарычал.

– Чегой это у вас? – поинтересовалась Нюся, втайне радуясь, что неприятную тему жениховства можно обойти. – В животе урчить, что ли?

– В животе... – Себастьян немалым усилием воли убрал проклянувшиеся не к месту рога. – Урчит.

– От пирожка? От же ж... чуюла, что несвежие... ежель слабить будет, то у меня с собою маслице заговоренное есть. От живота – самое оно... принести?

– Принесите.

Конфликт натур требовал немедленного разрешения. Желательно, чтобы произошло оно без посторонних...

– Б-будьте так любезны, – сдавленно произнес Себастьян и прислонился спиной к дребезжащей двери. С крыльями управиться было сложнее, нежели с рогами.

Нюся, впрочем, не особо спешила.

Ее терзали недобрые предчувствия, как в тот раз, когда она почти уже стоворилась с Микиткою, да вышла на минутку по большой нужде, а когда вернулась, то узрела, как Гаська, подруженька заклятая, всюю ужо обнимается...

– И-идите... – просипел Себастьян, спиной скребясь о жесткое дерево. Дерево похрустывало, а может, не дерево, но спина, главное, что звук этот терялся в перестуке колес.

– Я скоренько... – пообещалась Нюся.

Искаженное мукой лицо жениха убедило ее, что он и вправду животом мается. А что, человек городской, ученый, стало быть и нежный, что тяткин аглицкий кабанчик.

Она и вправду собиралась возвратиться, но, на Себастьяново счастье, была перехвачена панной Зюзинской, которая не пожелала слушать ни про обстоятельства, ни про то, что Нюся уже почти сыскала собственное счастье, а значит, в свахиной опеке вовсе и не нуждалась.

Панна Зюзинская шипела рассерженной гадюкой. И щипала за бока. А платье пригрозила выкинуть... правда, когда Нюся встала, как становилась маменька, когда тятка совсем уж края терял, буяня, да сунула панне Зюзинской под нос кулак, та разом сникла.

– Послушай меня, девочка, – заговорила она иначе, ласково, пришептывая, – он тебе не пара... ну посмотри сама... что в нем хорошего? Кости одни...

– Ничего, были б кости – мясо нарастет, – решительно ответила Нюся, которая не была намерена отступаться от своего. А бедного студиязуса она искренне полагала своим.

– Он же ж безрукий, только и умеет, что книги читать... а на кой тебе такой мужик? Хочешь, чтоб целыми днями лежал да читал про своих упырей... – Панна Зюзинская вилась вокруг Нюси, держала за руки, шептала, и вот уж Нюся сама не поняла, как согласилась с нею, что этакый жених ей и вправду без надобности.

Лежать и книги читать...

Она сменила платье и покорно легла на жесткую узкую лавку. В тяткином доме и то шире стояли. А уж как перинку-то поверх положишь, подушку, гусиным пухом самолично

Нюсею драгым, под голову сунешь, одеяльцем укроешься, то и вовсе благодать...

Меж тем Нюсин уход оказал несколько неожиданное, но весьма благотворное действие на Сигизмундусов характер. Он разом утратил несвойственную ему доселе воинственность, напротив, признал, что Нюся – не самая подходящая кандидатура в жены, да и ко всему ныне время для женитьбы не подходящее. Он уже почти решился было вернуться в вагон – Нюся определенно не собиралась возвращаться, а за Евдокией требовалось приглядывать, – когда дверь скрипнула и в тамбур бочком протиснулась панна Зузинская.

– Доброй вам ночи, – сказала она и улыбнулась этакою фальшивою улыбочкой, от которой стало ясно, что ночь сию доброй она не считает и вовсе к беседе не расположена, однако обстоятельства вынуждают ее беседовать.

– И вам. – Панна Зузинская внушала Сигизмундусу безотчетный страх, и потому он охотно отступил, позволяя вести неприятный разговор Себастьяну.

– Вижу, вы с Нюсенькой нашли общий язык...

– А то...

– Она, конечно, хорошая девочка... умненькая... для своего окружения... смелая... только вы же понимаете, что она вам не пара!

– Отчего же?

– Ах, бросьте... вы – ученый человек, будущая знаменитость... – Панна Зузинская льстила безбожно, и еще этак, ласково, рукав поглаживала, и в глаза заглядывала... собственные ее впотьмах отливала недоброй зеленью. – Она же – простая крестьянская девка... вам же ж ни поговорить о чем... а что скажут ваши приятели?

Приятелей у Сигизмундуса не было.

– Она опозорит вас...

– С чего вдруг вас это волнует?

– Волнует, – не стала отрицать панна Зузинская. – Еще как волнует. Во-первых, на мне лежат обязательства перед ее родителями...

В это Себастьян не поверил.

– Во-вторых, у меня обязательства перед ее женихом и перед ней самою. Я не могу допустить, чтобы эта милая девочка сломала себе жизнь по глупой прихоти!

– Успокойтесь. – Себастьян понял, что более не способен выслушивать ее причитаний, что само присутствие этой женщины, от которой все отчетливей воняло гнилью, лишает его душевного равновесия, а оное равновесие он только-только обрел. – Я не собираюсь компрометировать вашу... подопечную. И буду рад, если вы проследите, чтобы она не компрометировала меня.

Панна Зузинская закивала.

Проследит. Всенепременно проследит.

Правда, именно в этот момент подопечная, оставшаяся в одиночестве, открыла глаза, пытаясь понять, как же это она оставила бедного суженого да без маслица? И главное, без присмотру... с маслицем, оно еще, быть может, и обойдется, а вот приглядывать за мужиком надобно безотлучно.

Эта мысль заставила нахмуриться.

Панна Зузинская... Нюся помнила, как встретила ее в коридоре... и как говорила, рассказывала про свою почти сложившуюся судьбу... а та не радовалась...

Панны Зузинской рядом не было, зато была девка, рыжая и с наглючими глазами. Она наклонилась над Нюсей и руками перед лицом водила этак, будто бы по воде...

– Ты чего? – спросила Нюся.

– Очнулась? – Девка руки от лица убрала.

Некрасивая.

Пожалуй, именно это обстоятельство и позволило Нюсе глянуть на новую знакомую с сочувствием. Ей ли самой не знать, каково это, когда женихи глядят на других, пусть те, другие, и не такие рукастые и приданое у них меньше, зато Иржена-заступница красоты женской им отсыпала щедро.

– А чего со мною? – Нюся села и ладонь к грудям приложила. Сердце ухало ровно, обыкновенно, а вот в ушах звенело. – Сомлела?

Она слышала, что городские барышни частенько сомлевают, и сие не просто так, но признак тонкости душевной, и, стало быть, Нюся сама душевно тонка... иль просто от Сигизмундуса набралася?

– Заморочили тебя. – Девица отстранилась. – Послушай, сейчас она вернется. С другими говорить бесполезно, их она полностью подчинила. А ты... у тебя иммунитет...

– Чего?

– Заморочить тебя тяжко. И морок держится недолго. Потому слушай меня. Уходи. На ближайшей станции уходи. При людях она тебе ничего не сделает...

– Чего?

– Беги! – прошипела девка.

– Куда?

– Куда-нибудь!

– Яська, – за девкой появилась темная фигура в монашеском облачении, – Яська, дочь моя... где это тебя ночью... носит... не спится...

Монахиня осенила девку размашистым крестом.

– Не рушь людям покой... – добавила она.

И девка молча поднялась. Косу растрепанную перекинула... ушла... а Нюся... Нюся долго, минуты две, раздумывала, послушать ли девкиного совета...

...а на рассвете поезд ограбили.

## Глава 6, где действие происходит в городской библиотеке

*Не навязывайте мне ваше счастье, у меня есть свое!*

*Восклицание пана Гриневича при совершенно случайной встрече с соседкою и ее двадцатитрехлетней дочерью, способной составить счастье серьезному мужчине*

Городская библиотека некогда гордо именовалась Королевскою и открыта была исключительно для лиц, которые принадлежали к первому сословию, ибо прежняя власть здраво рассудила, что люду купеческому аль работному, не говоря уже о крестьянах, тяга к знаниям несвойственна. А коль и просыпается она, то исключительно перед смутой.

Как бы то ни было, но здание на королевской площади и ныне впечатляло что колоннами своими, что куполом, покатым и блескучим, как генерал-губернаторская лысина, что резными фигурами старцев. Старцы были сплошь премудры, о чем свидетельствовали высокие лбы и талмуды. Последние старцы либо держали на вытянутых руках, показывая притом недюжинную силу, либо с отеческой нежностью прижимали к груди.

На Гавриила они взирали свысока, с неодобрением, явно несогласные с новою политикой государства, каковая сделала библиотеку местом публичным.

– Ходят тут всякие...

Мнение старцев довольно громко выразила панна Гражина, служившая при библиотеке уборщицею. Местом своим она премного гордилась, полагая себя едва ли не единственною хранительницею его, библиотекарей же и иных служителей почитала дармоедами. А посетителей, особливо подобных молодому человеку в полосатом костюме, и вовсе вредоносным элементом. Оттого, оставив верное ведро в стороночку, панна Гражина выкрутила тряпку, стряхнула остатки грязной воды, вытерла руки о фартук и двинулась следом.

Естественно, ничтожный сей человек и не подумал, входя в хранилище знаний, ноги вытереть. И за ручку, которую панна Гражина полировала полчаса, взялся, страшно представить, голою рукой, нет бы перчатку сперва надеть, лучше, ежели бальную, из белого сукна, или, на худой конец, платочком... но нет, останутся на бронзе следы пальцев.

– Ходят тут... – пробормотала привычное панна Гражина, двигаясь следом.

Шла она осторожно, едва ли не на цыпочках.

Посетитель же, наглым образом проигнорировав коврик – выглядел коврик, конечно, жалко, более походил на тряпку, но все ж, – пересек холл. И на дивные скульптуры внимания не обратил, а за между прочим, скульптуры эти были давеча внесены в реестр национального достояния, о чем панна Гражина вспоминала дважды в год, когда случалось их от грязи отмывать.

Достояние или нет, но пылюка на них оседала знатно.

– Ходят... всякие... – бормотала она, расправляя смятый коврик. За посетителем на свежечотмытом полу – наборном, из четырех видов камня, – тянулась цепочка следов. На улице-то с утраца дождик шел.

Вот и...

А этот поганец знай поднимался уже по лестнице, ковром застланной. Ковер полагалось чистить дважды в неделю, что панна Гражина и проделывала с превеликою неохотой. Последний раз прошлась она с тряпкой и щеткой не далее как вчера...

Он минул зал исторических рукописей и зал современной книги, читальный, весьма любимый панной Гражиной за невеликие размеры и гладкий пол, потому как мозаики – сие, безусловно, красиво, да только попробуй отмой их. Грязюка так и норовит забиться меж стыками камней. Гость поднялся по лесенке, о чем-то переговорил с библиотекарем, молодым да наглым, верно потому и нашли они общий язык быстро.

Панна Гражина лишь головой покачала, глядя, как неугодного ей посетителя провожают в зал периодики.

Газетки читать пришел.

Вот же ж...

Гавриил, не ведая, что намерением своим, вполне естественным, раз уж библиотека ныне открыта для всех сословий, вызвал подобное неудовольствие, и вправду устроился в зале периодики. «Познаньскую правду» за последние полгода принесли в широких поддонах. К ней же «Криминальные вести» и пухлые связки злополучного «Охальника». Его библиотекарь и подавал-то, брезгливо кривясь, всем видом своим показывая, что она газетенка не стоит доброго слова и уж тем паче высокой чести быть хранимою в самой Королевской библиотеке.

– Спасибо, – искренне сказал Гавриил и поддоны отодвинул. Начать он решил с «Криминальных вестей», благо профиль их был весьма подходящим.

– Вы что-то конкретно ищете? – Библиотекарю было тоскливо.

Все ж была скучна работа его, имевшая множество преимуществ, начиная от гордого звания хранителя Королевской библиотеки и строгой формы, донельзя напоминавшей военную – иные панночки, в военных делах не шибко сведущие, то и дело путали, – и заканчивая окладом. Онный был вполне приличным, куда больше, нежели у судейских писарей, а обязанности – нетяжелыми.

– Ищу, – признался Гавриил, но тут же добавил: – Правда, пока сам не знаю что...

Его вело смутное предчувствие, каковое прежде не обманывало.

И ныне, переворачивая хрупкие газетные листы – хрупкость их была обманчивой, ибо все, хранившееся в библиотеке, включая самые малые, бесполезные с виду книжицы с дамскими советами, обрабатывалось особым составом, – Гавриил пытался понять, что же ищет...

...убийство?

...убийств было множество. Гавриил даже испытал некоторое огорчение: он думал о людях много лучше. Они же... некий купец третьей гильдии, пребывая в состоянии алкогольного опьянения поспорил с приятелем за полсребня. И, проигравши, преисполнился такой обиды, что не нашел иного выхода, кроме как приятеля ножиком ударить... или вот некий неизвестный орудовал в Приречном квартале дубиною, а трупы обирал... девицу легкого поведения придушил ревнивый кавалер...

Убивали много, с размахом, все больше по пьянству, но это было не то... не так....

Он потер глаза. Болели.

Все ж таки Гавриилу не случалось прежде столько в библиотеках сидеть. И пахло тут неприятственно, пылью книжной, едкой, а еще – тем самым составом, благодаря которому книги переживут что пожар, что наводнение, что какую иную беду.

Он с сожалением закрыл «Криминальные вести», принявшись за «Познаньскую правду». Она, будучи изданием солидным, подлежащим обязательной перлюстрации, писала много, скучно и все больше о политике. Про убийства упоминала, лишь когда не упомянуть о подобном злодеянии было вовсе не возможно...

Не то...

Оставался «Охальник».

После давешней истории с ведьмаком к газете этой Гавриил относился с некоторым предубеждением. И ныне сидел, глядя на желтые страницы, не решаясь прикоснуться к ним. Вдруг да вновь обманут?

А с другой стороны, не уходить же с пустыми руками?

Следовало сказать, что читать «Охальник» было куда как интересней, нежели «Криминальные вести», не говоря уже о степенной до зевоты «Познаньской правде». Гавриил порою даже забывал, чего ради он явился в библиотеку. Впрочем, спохватывался быстро, отлистывал страницы... и вновь читал... Делал пометки. Одну. А затем другую... и третью... и в скором времени он ясно осознал, что именно следует искать.

Девушек.

Темноволосых, темноглазых девушек, каковые пропали без вести.

Первая, Марьяна Загорска, была дочерью лудильщика и сгинула полгода тому. Полиция отнеслась к исчезновению ее без особого энтузиазма, напомнив, что Марьяне уже случалось уходить из дома не раз и не два... и оттого преисполнились они уверенности, что и ныне девка сбежала от крепкой отцовской руки. Благо лудильщик не отрицал, что любил поучить дочку. Дело сие было столь обыкновенным, что всенепременно прошло бы мимо «Охальника», когда б не одна примечательная деталь – накануне исчезновения Марьяне прислали цветы. И не просто цветы – багряные розы сорта «Королева Эстель» по ползлотня за штуку. Этакое богатство обыкновенным Марьянкиным кавалерам, коих, к слову, имелось множество, было не по карману.

Марьянку нашли спустя неделю.

В канаве. Задушенной.

И дело закрыли.

А и вправду, все ж ясно... добегалась девка. «Охальник» назвал убийцу романтиком, помянувши и про шелковую ленту, и про красную розу на груди...

Гавриил отстранился.

Лента.

Пан Зусек что-то вчера говорил про ленты... и, коль память не подводит – а Гавриил надеялся, что в ближайшую сотню лет память его не подведет, – то именно про ленты красные... и даже не просто красные, но исключительно оттенка темного...

Лента.

Розы.

И пропавшие без вести брюнетки.

Верно если бы их нашли, как Марьяну, с лентой и розами, полиция не пропустила бы появление нового душегуба, но он оказался довольно умен.

Нет тела? Нет и расследования, а есть объявления на последней полосе с описаниями, обещаниями вознаграждения от безутешных родственников... изредка, ежели позволяло состояние, то помещали и снимки.

Без малого – дюжина объявлений...

– Извините. – Он вдруг очнулся, поняв, что сидит в библиотеке давно, так давно, что за стрельчатыми окнами уже темно, хоть бы и темнеет ныне поздно, после десятого часу. И значит, просидел Гавриил над столом весь день. О том и спина говорит, ноет немилосердно, разогнуться и то с трудом выходит, со скрежетом. Глаза болят, чешутся. И есть охота, но мысль о еде Гавриил отринул с гневом: люди пропадают, а он про кашу думает... и еще об иных естественных надобностях, думать о которых в подобном месте и вовсе святотатство. Впрочем, организму его, истомившемуся непривычным умственным трудом, были чужды столь высокие материи. Организм желал...

Желание его Гавриил исполнил, благо в Королевской библиотеке клозет имелся.

Он возвращался в зал периодики, когда услышал этот голос. Бархатистый, с надрывом...

– И пламя страсти вспыхнуло в ее груди с неудержимой силой! – Голос проникал сквозь тонкие стены, полки с книгами и сами книги.

Голос заставлял клониться ниже пухлых нимф и тощих муз, которые, казалось, готовы были отложить что арфы, что свирели, что иной музыкальный инструмент, коему были верны в последние полтора года лет.

– Она ощутила, как слабнут колени, а в животе рождается неведомое томление, словно бы там трепещут крылами сотни бабочек...

Гавриилов живот заурчал. Он сейчас не отказался бы и от одной, конечно, лучше бы не бабочки, до бабочек Гавриил был небольшим охотником, предпочитая дичь покрупней, помясистей.

– Но все же Эсмеральда нашла в себе силы разорвать прикосновение рук...

Совокупный вздох заглушил окончание фразы, и музы скривились. Они не отказались бы спуститься пониже, ибо на сводчатых потолках было прохладно, неуютно, да и слышно не очень-то хорошо.

– Молю... – Голос теперь звенел. – Молю пощадить мою честь!

– Тоже слушаете? – Библиотекарь возник за спиной беззвучно, и Гавриил с трудом удержался, чтобы не ударить.

Нельзя же так с людьми. В библиотеке.

– Кто это?

– Это... писательница одна. – Библиотекарь произнес это так, что стало очевидно: писательницей он сию женщину не считает и вообще относится к ней снисходительно.

Это Гавриилу не понравилось.

Вот он писателей уважал. И живьем ни разу не видел, не считая пана Зусека, а потому полагал отчасти существами куда более мифическими, нежели волкодлаки, поелику последних он как раз видывал, и не раз.

– Встречу творческую проводит. С поклонницами. – Библиотекарю было откровенно скучно.

Ему хотелось домой, ибо там ждала мама и, что куда важней, ужин из трех блюд, а после – любимое кресло у камина и книга. Матушка утверждала, что книг ему хватает и в библиотеке, но втайне гордилась, что единственное чадушко вечера проводит дома, не ходит ни по кабакам, ни по девкам.

Увы, мечтам библиотекаря не суждено было сбыться.

О встрече договаривались загодя, и грозила она затянуться до поздней ночи, что было, конечно, нарушением всех правил, да вот беда, супруга главного смотрителя библиотеки являлась страстной поклонницей сей дамочки...



– Она смотрела в его глаза, которые наливались краснотой... – меж тем продолжала писательница иным, бархатистым голосом. – Зловеще вздымалась за спиной его луна... свет ее отражался в зеркалах...

Кто-то отчетливо всхлипнул.

– Слушать это не могу... – проворчал библиотекарь и кинул в рот орешек.

Вообще-то правилами было строжайше запрещено есть на рабочем месте, ибо имелся для подобной надобности особый кабинет, однако же до кабинета того поди доберись. И то, орехи – вовсе не еда, перекус малый.

– Не слушайте, – проворчал Гавриил, которого раздражал и запах еды, и сам человек, невысокий, полнотелый, но какой-то переполненный чувством собственного достоинства.

Он окинул Гавриила взглядом, в котором привиделось и сожаление, и презрение – все ж таки библиотекарь весьма рассчитывал на беседу, каковая хоть как-то да развеяла бы скуку нынешнего вечера, – и поджал толстые губы. Уходил молча, горделивой походкой человека, оскорбленного до глубины души.

И стало даже стыдно. Немного.

– Эсмеральда застыла в ужасе. Она глядела на князя и не узнавала его, того человека, которого знала, как ей казалось, очень хорошо. Того, кому отдала свое сердце... – Голос манил.

И звал.

И Гавриил, не способный устоять перед таким искушением, двинулся на зов. Он ступал осторожно, столь осторожно, сколь позволяли сие новые туфли со скрипучею подошвой. Он крался, страшась и того, что поймут его за недостойным сим занятием, и того, что заметят...

Встреча проходила в малом зале, главной достопримечательностью которого было изваяние короля Болеслава Доброго, основателя библиотеки. Изваяние было, как и положено памятникам подобного толку, внушительным и пусть несколько лишенным портретного сходства с оригиналом, зато величественным, вызывающим у посетителей библиотеки трепет, уважение и иные верноподданические чувства.

Она устроилась у ног Болеслава.

Хрупкая женщина в темно-синем платье, которое подчеркивало удивительную ее красоту. Она сидела в плетеном кресле и в левой руке держала стопку листов, а на коленях ее лежала изящная папка, в которую листы отправлялись...

Та самая незнакомка из парка.

Ныне она выглядела несколько иной, пожалуй, старше, серьезней, но все же это была именно она.

Гавриил смотрел. И слушал.

– Князь стремительно обрастал клочковатою шерстью. Глаза его пылали алым, будто бы угли из самой Хельмовой преисподней. На руках появились когти ужасающего вида...

...на встречу с писательницей явилась почти сотня дам самого разного вида. Молодые, и не особо молодые, и такие, чей возраст Гавриил затруднился бы определить. Были и в нарядах роскошных, и в платьях весьма простых, пусть и опрятных...

– Она же смотрела, не в силах отвести взгляд. Сердце Эсмеральды разрывалось меж любовью и страхом. И, протянув руки к князю, она взмолилась: «Если ты желаешь убить меня, то убей быстро...» Он же ответил утробным рыком... а пламя очей сделалось ярким.

Писательница перевернула лист.

Женщины смотрели на нее неотрывно, жадно, боясь упустить хоть бы слово.

– Он же отвечал ей хриплым голосом: «Нет, моя любовь... как могу я причинить тебе вред? Это противно самой сути моей...»

Кто-то тоненько всхлипнул.

– Князя сжигало желание немедля заключить Эсмеральду в свои объятия и предаться с нею запретной страсти. Однако разве мог бы он поступить подобным образом с той, которая была чиста и невинна, подобно первому весеннему цветку? Разве он не любовался ею исподволь, не смея приблизиться, ибо ведал о проклятии своем...

Полная женщина в розовых шелках смахнула слезы.

– И ныне он пребывал в уверенности, что Эсмеральда, узнав об ужасной его тайне, уйдет, чтобы никогда больше не возвращаться. Он смотрел на прекрасное ее лицо, и страсть сменялась нежностью. Не зная, как выразить чувства, переполнявшие его, князь протянул руку, и уродливый черный коготь коснулся щеки Эсмеральды. «Прости, – сказал князь, и голос его дрожал, – я посмел надеяться, что буду счастлив, но теперь знаю точно: счастье – не для меня. Я обречен на вечное одиночество... одиночество в ночи».

И писательница закрыла папку.

Женщины плакали.

Кто-то тайком смахивал слезы, кто-то, как худошавая девица в парче, рыдал открыто, не стесняясь эдакого чересчур уж вольного проявления чувств. Кто-то лишь вздыхал, покусывая губы.

– Но они... – Девица громко высморкалась в кружевной платок. – Они ведь будут вместе? Будут счастливы... они такие...

– Будут, – ответила писательница. – В третьей части моей саги... я решила назвать ее «Неодиночество в ночи».

– Очень романтично!

– Во второй части князь уйдет на войну, чтобы погибнуть с честью. Но его только ранят, а в госпитале он узнает, что опекун Эсмеральды собирается выдать ее замуж за недостойного человека...

– Какой кошмар!

– Он будет очень страдать. – Писательница погладила папку с нежностью. – Впрочем, она тоже... в третьей части князь поспешит вернуться, но опоздает... он появится в храме уже после венчания...

Совокупный вздох был ей ответом.

– Князь похитит Эсмеральду, потому как будет не способен представить ее в чужих объятиях, а муж ее подаст жалобу королю... в общем, там все очень сложно, но потом его повесят.

– Короля?

Писательница нахмурилась, похоже, подобный поворот сюжета ей в голову не приходил.

– Нет, – с явным сожалением ответила она. – Мужа. Он окажется изменником родины, мздоимцем и просто сволочью.

Дамы хором согласились, что в таком случае ничтожного этого человека всенепременно следует отправить на виселицу. Или на плаху.

На плаху даже романтичней...

– Пожалуй. – Писательница прикусила перышко. – Это будет очень драматично... он восходит на эшафот... рассвет встает... белая рубаха, ветер развеивает длинные его

волосы... и грозно высится палач с топором... и он говорит, что все делал ради любви к Эсмеральде... а она рыдает... ей очень жаль мужа, но она любит князя...

Гавриил потряс головой. Все-таки в ней сия история, пусть и не прочитанная, не укладывалась.

– Он просит прощения у Эсмеральды, и она его прощает... и после казни они с князем отправляются в храм, чтобы сочетаться законным браком. Все счастливы.

Надо полагать, помимо казненного супруга, хотя, возможно, и он обрел свое счастье в посмертии. Гавриил сунул палец в ухо.

– А... простите... князь так и останется волкодлаком? – подняла руку дамочка в сером платье, по виду или гувернантка, или нянька.

– Я пока еще не решила... – призналась писательница. – Возможно, сила истинной любви снимет проклятие и он станет обыкновенным человеком. А может, и волкодлаком будет, но хорошим...

– Хороших волкодлаков не бывает.

Это прозвучало как-то слишком уж громко, и Гавриил не сразу понял, что это он сказал.

И был услышан.

Женщины повернулись к нему. Вспомнился вдруг приютский птичник, в котором обретались самые разные куры: от беспокойных беспородных несушек, каковых в любой деревне имеется множество, до рыжих гершанских, ленивых, неповоротливых, зато красивых в рудом своем оперенье. Были там и белоснежные вассеры, и мелкие, кривоногие кутейманы, чьи яйца потреблял исключительно отец настоятель, ибо были они не то особо вкусны, не то особо полезны.

Главное, что работать на птичнике Гавриил не любил.

И куры ему платили взаимностью. Стоило войти, как разом они забывали о своих курячьих делах, поворачивались к Гавриилу и смотрели. По-птичьему смотрели, не мигая. И глаза их виделись пустыми, страшными.

– Простите, – нежный голос писательницы разрушил морок, – что вы сказали?

– Хороших волкодлаков не бывает, – повторил Гавриил. – Волкодлак – порождение Хельма. И даже в человеческом обличье он, как правило, неприятен.

Вспомнилось.

И холодом потянуло по плечам. Захотелось исчезнуть, как в те разы... сделаться еще более мелким, ничтожным, забиться под лавку или, на худой конец, книжный шкаф, ибо лавок в библиотеке не стояло.

– В волчьем же ему разговаривать тяжело. Волчья глотка устроена иначе, чем человеческая. И все эти признания в любви... они какие-то... неправильные. Волкодлак к нежностям не снисходит.

С каждым его словом писательница мрачнела все сильнее.

И Гавриил смутился. Замолчал. Отступил от балюстрады, жалея, что вовсе выдал свое присутствие.

– Полагаете, что я не знаю, о чем пишу? – Раздражение в ее голосе было явным.

– Наверное, не знаете, – согласился Гавриил. – Мало кто знаком с повадками волкодлаков...

– В отличие от вас.

Гавриил кивнул.

Под взглядами женщин, все-таки женщин, пусть бы и проглядывалось в них нечто

этакое, смутно знакомое из Гавриилова прошлого и птичьего двора, он совершеннейше растерялся.

– А вы, стало быть, специалист по волкодлакам... – Писательница встала.

Она была невысокого росту, изящная, хрупкая даже, и мраморная статуя Болеслава Доброго подчеркивала эту неестественную хрупкость.

– И на том основании вы полагаете себе возможным вмешиваться в чужой творческий процесс...

Ему показалось, что еще немного, и в него метнут папкой.

Почему-то Гавриилу подумалось, что сил у нее хватит. А если нет, то дамы помогут.

– Извините. – Он окончательно смутился. В конце концов, и вправду, что он понимает в творческом-то процессе? – Я... пожалуй... пойду...

Задерживать его не стали.

И все же чудилось Гавриилу – следят. Наблюдают, что музы, что наяды, что сами книги, теснившиеся на полках, покрытые невесомым пологом пыли, от которой не спасали ни заклятия, ни уборщицы. Он выбрался из библиотеки и с превеликим наслаждением вдохнул свежий воздух. Теплый.

Темна была червеньская ночь. Глазаста звездами, а вот луну схуднувшую на самый край неба откатила, прикрыла завесой облака.

Сверчки стрекотали.

Орали коты, не то из-за кошки, не то от избытка чувств. И Гавриилу вдруг тоже нестерпимо захотелось заорать или же, на худой конец, сделать что-нибудь невероятное, такое, что наставники его не одобрили бы.

Впрочем, не одобряли они многое.

– Признаться, удивлен, встретив вас тут. – Массивная дверь отворилась беззвучно, выпуская широкую полосу света, в которой вытянулась тень. Тень была уродливою, с узкими тонкими ногами и непомерно широкими плечами, и оттого Гавриил не сразу узнал ее, искаженную. – Не думал, что вы любитель подобной литературы...

Пан Зусек вытащил из кармана кисет, а из кисета – анисовую карамельку, которую кинул в рот.

– Хотите?

От него пахло книгами и духами, но отнюдь не теми, которыми пользовалась дражайшая его супруга. И сие несоответствие неприятно удивило, как и сам факт присутствия пана Зусека в библиотеке.

Следил?

– Спасибо. – От карамельки Гавриил не отказался, потому как был голоден. Но сперва обнюхал ее старательно, пытаясь понять, есть ли в ней иные примеси. Конечно, на него мало что могло воздействие оказать, но все ж...

– Пожалуйста.

– Я тут... по своей надобности. – Карамелька была кисловатой, дешевой, но все же вкусной до невозможности. И Гавриил, сунув ее за щеку, зажмурился.

Сладости он впервые попробовал в приюте, на Зимний день, когда явились попечительницы и каждому ученику, даже столь неприятному, как Гавриил – а он уже обжился достаточно, чтобы научиться видеть в глазах людей, его окружавших, брезгливость или отвращение, – вручили по пакетику леденцов и имбирному прянику.

– А вы тут... – Гавриил потрогал конфету языком.

– Из любопытства. Исключительно из любопытства. Каролина весьма ценит творчество этой особы... вот и решил взглянуть. В газете прочел.

Пан Зусек кривовато усмехнулся.

А Гавриил ему не поверил. Ни на секунду...

– На самом деле – явственное подтверждение женской беспомощности. Она пишет о вещах, о которых не имеет ни малейшего представления, но меж тем любую критику встречает агрессивно. В этом все женщины. Они способны слушать и слышать лишь себя самих.

Пан Зусек шел медленно, гуляючи.

И выглядел обыкновенно.

Но духи эти... и само его здесь появление... и то, что писательница эта, чье имя Гавриил непременно узнает, оказалась девушкой из парка... Темноглазую брюнеткой, как и иные пропавшие.

Случайность ли это?

– А вы, значит, в волкодлаках разбираетесь? – словно бы невзначай поинтересовался пан Зусек.

– Есть немного...

– И откуда же, простите, подобные знания?

– Да так... случилось... сталкиваться...

О прошлом своем Гавриил рассказывать не любил, здраво полагая, что гиштория его не вызовет у сторонних людей ни симпатии, ни хоть бы понимания. Напротив, жизненный опыт его, пусть и не самый великий, показывал, что оные люди скорей начнут испытывать к Гавриилу неприязнь, а то и вовсе бояться, хоть бы он сам никогда-то никого из рода человеческого не трогал.

– Надо же, – вполне искренне удивился пан Зусек. – Вы сталкивались с волкодлаком?

– Да.

– И как?

– Жив, как видите... – Гавриил, позабыв о манерах – подобное с ним случилось при исключительном душевном волнении, – сунул руки в карманы. Карманы в пиджаке полосатом были узкими, тесными.

Пан Зусек хохотнул.

– Да вы шутник... знаете ли, я много слышал о волкодлаках... и читал немало... прирожденные убийцы... существует теория, что они есть результат эволюции, этакий хищник рода человеческого...

Гавриил кивал.

Слушал.

И не слышал. Он вновь шел, уже не по широкой познаньской улочке, освещенной газовыми фонарями, но по болоту... шел, проваливаясь по колени, задыхаясь и немея от страха, от понимания, что уйти не позволят.

Ничего. В тот раз у него все получилось. И в этот справится.

# Глава 7

## Разбойничья

*Жизнь переменчива. В какие-то моменты ты на коне, в какие-то ты – конь.*

### *Из бытия королевских жокеев*

Евдокия проснулась за мгновение до того, как дощатый пол вздыбился, стрельнув щепой.

– Лежи! – рявкнул Себастьян и для пущей надежности рухнул сверху, вдавливая Евдокию в лавку.

– Что происходит?

Вопрос ее потонул в грохоте.

Раздался скрежет, и перекосившиеся окна рассыпались, а из дыр потянуло плесенью. Вагон же, содрогнувшись всем телом, застыл.

– Что происходит? – повторила панна Зузинская, и ее голосок ныне звучал громко, исполошенно даже.

– Сам бы я хотел знать. – Себастьян поднялся и руку подал. – Но что бы ни происходило, на торжественное прибытие сие не похоже.

Евдокия осмотрелась.

Темно. Но темнота не глухая, не крошечная, напротив, рваная какая-то. И в пустых окнах видно небо, не синее и не лиловое, престранного окрасу, будто бы сединою прорезанное.

– Всем встать! – раздалось с другого конца вагона.

Вспыхнули огни.

И Себастьян вполголоса выругался.

– Не бойтесь, господа, – весело произнесла давешняя мрачная девица, крутанув на пальнике револьвер. – Это всего-навсего ограбление...

– Ужас! – воскликнула панна Зузинская, но совершенно неискренне.

– Кошмар, – подтвердила Евдокия, которой случалось сталкиваться с грабителями в прошлой жизни, и воспоминания о том отнюдь не относились к числу приятных.

А девица не иначе как для пущей убедительности пальнула в потолок. Выстрел получился громким, впечатляющим.

– И кого, позвольте узнать, вы грабить собираетесь? – вперед выступил парень в черных одеяниях. Выглядел он довольно грозно, особенно плащ его, полы которого качало сквозняком.

– Тебя.

– Меня?! – Парень широким жестом откинул плащ. – Да ты знаешь, кто я?!

– Кто?

– Некромант!

Сие прозвучало впечатляюще. И охнула панна Зузинская, показательно схватившись за сердце, а Себастьян, напротив, подался вперед, разглядывая нового знакомого с немалым интересом.

Тот же выпятил грудь, ручку согнул в локотке, вторую же упер в бедро. Ногу отставил, голову запрокинул, и ежели бы случилось луне появиться, она, несомненно, восхитилась бы благородным профилем некроманта. Или же высветила его, к превеликой радости зрительниц.

Некромант был хорош. Грозен. И даже крючковатый нос его вписывался в образ.

– Надо же... – Себастьян поцокал языком. – Некромант... слушай, некромант, а может, ты еще и князь ко всему?

Подбородок, узенький, с черной кисточкой бороды, поднялся еще выше.

– Да, – ответил парень с важным кивком и плечи шире расправил. – Князь.

– На-а-адо же...

Себастьян подался вперед, и Евдокия ухватила его за клетчатый шарф.

– Не высовывайся.

Ей вдруг стало страшно, что это существо, которое не было в полной мере ни Себастьяном Вевельским, ни Сигизмундусом, а являлось обоими сразу, сунется куда не просят. К примеру, подвиги совершать.

Погибнет.

И что Евдокии с трупом делать? Возвращаться на похороны аль тут оставить до лучших времен? Мысль эта показалась вдруг столь важною, что Евдокия замерла, всерьез обдумывая, куда бы припрятать Себастьяново тело, чтобы не сильно попортилось по местной жаре.

– Дуся, – в голосе Себастьяна прозвучал упрек, – придушишь! А я, между прочим, с благими намерениями.

И шарфик выдрал. Шагнул вперед, правда, не столь горделиво, как некромант, что так и стоял посеред вагона зловещим изваянием.

– Слушай, некромант... тут такое дело... – Сигизмундус умудрился влезть меж девицей с револьвером, которая выглядела несколько ошарашенною подобным поворотом дела, и некромантом. Нагнулся, подцепил пальцем полу плаща, пощупал.

Поцокал языком.

Вздохнул.

Складочки на плечах расправил, сказав:

– Так оно внушительней. У тебя, братец, плечо узкое, а талия – напротив. Надобно правильно акценты расставлять...

– Спасибо, – только и нашелся что ответить некромант, которому до сей поры никто про акценты не говорил. И вовсе люди, впечатленные что образом, создававшимся долгие годы, что самою профессией, каковая неизменно вызывала уважение и страх, чурались некромантова общества. А коли случалось оказаться в нем, то темы для беседы выбирали безопасные. К примеру, об урожаях гороха... горох, если разобраться, к некромантии никакого отношения не имеет-с. Или вот окот овец, опорос свиней, окобыл кобыл и прочие, несомненно, жизненно важные события, обсуждение которых в провинциях-с вызывает небывалый ажиотаж.

– Пожалуйста, – махнул рукою Сигизмундус, которому однажды в руки, не иначе как чудом, попалась книженция с премудрыми советами.

Из них он и узнал, что шарф надобно носить клетчатый, ибо клетчатость шарфа – несомненное свидетельство неординарности его обладателя. А более неординарной личности, нежели он сам, Сигизмундус вообразить не мог.

– Ограбление, – мрачно напомнила девица и вновь пальнула в потолок, который ответил

мелкою щепой.

– Да погодите вы со своим ограблением! – Это было сказано уже Себастьяном, поелику личности неординарные, одиозные даже, обладали чересчур тонкою душевною организацией, чтобы участвовать в мероприятиях столь сомнительного толка. – Успеется оно. Я, может, человека предупредить хочу!

– А не поздновато? – густым басом осведомилась монахиня и, присев, раскорячившись, как вовсе не подобает раскорячиваться божьей невесте, вытащила из-под сутаны обрез.

Обрез Себастьян оценил.

И от монахини на всякий случай отступился, хотя и черного плащика из рук не выпустил.

– Предупредить хорошего человека об опасности никогда не поздно! – возвестил Себастьян и, ткнувши пальцем в грудь князя-некроманта, каковой от этакой вольности окончательно смешался, добавил: – Берегись склепов!

– Чего?

– Склепов берегись. И прекрасных свежезахороненных девок, а то ж чревато...

Некромант думал долго, но явно о чем-то не том, поскольку сначала покраснел столь густо, что и в темноте краснота сия была заметной, после медленно, с чувством побледнел. Следовало признать, что бледность подходила ему куда как больше, вписывалась, что называется, в сотворенный образ. И черные круги под глазами к месту были.

– Да что вы себе... позволяете?! – выдавил некромант, обиженно запахивая полы плаща. При том сделался он похож на преогромного, но все ж довольно немочного нетопыря.

– От мертвых девок добра не жди, – продолжил Себастьян, но на всяк случай отступил от князя-некроманта, мало ли что оному в голову втемяшится. – Мертвые девки, они поопасней живых будут.

– Без тебя знаю. – Некромант вздернул подбородок еще выше, отчего шея его вытянулась, будто у сварливого гусака. И шипел он похоже.

– Не знаешь... и даже не догадываешься, – вздохнул Себастьян, понимая, что сделал все возможное.

Совесть его будет спокойна.

– Вот и ладненько, – произнесла вторая невеста божья, этак по-доброму произнесла, с задором, от которого по хребту мурашки побежали. – Раз с мертвыми девками разобрались, теперича и с живыми разберемся...

И монашка подмигнула невестушкам панны Зузинской, каковые этакой фамильярности не оценили.

Девки заголосили слаженным хором.

– Грабют, – выводила Нюся, левым глазом поглядывая на суженого, а правым – на некроманта. Тот стоял, нахохлившись, неподвижный, важный, что старостин петух.

Князь.

Нет, естественно, Сигизмундушка ей нравился, и весьма, вчера вона как к ней прижимался, с трепетом... и сразу видно, что муж из него выйдет справный, нет в нем ни особой горделивости, ни спеси, так, дурь мужская, которая хорошею сковородкой на раз выбивается.

Но все ж князь...

Нюся живо представила, как возвращается она в родную деревню, да не просто с мужем, но с цельным князем.



На бричке.

А в бричке кобылка белая, грива лентами украшена, бубенцы под дугою звенят. Сама Нюся в шелковом алом платье да с шаликом на плечах, тоже шелковым, розами расшитым. И в ушах серьги золотые, на шее – бусы, да густенько, что шеи по-за бусами не видать.

Бронзалетки на руках.

На ногах – ботики красные с каблучками золочеными... а главное, не ботики, но муж грозный... этакий упырей учить не станет, бровкой поведет, от как сейчас, и те сами в могилы возвернутся.

– Убивают... – голосили иные девки, но без души, без вдохновения.

Всхлипывала панна Зузинская.

Хмурился некромант-князь, которому происходящее совершенно не нравилось.

– Чести лиш-а-а-ют...

– И имущества, – веско добавила Евдокия, руку в ридикюль сунув, но рука сия, уже нащупавшая перламутровую рукоять револьвера, была перехвачена.

– Не стоит, – шепотом произнес Себастьян.

– Почему?

– Потому, что имущества у нас не так и много... да и вообще, любопытно...

– Что любопытно?

Евдокии вовсе не было любопытно.

Вагон вдруг наполнился людьми вида самого что ни на есть разбойного, и князь-некромант пошатнулся, не устоял супротив пудового кулака. Евдокия лишь надеялась, что его не убили.

– Спокойно, граждане хорошие, – повторила девка, засовывая пистоль за пояс, стало быть, не видела в нем надобности. – Ведите себя правильно, и никто не пострадает...

Она прошлась по вагону, остановилась напротив панны Зузинской.

– Почти никто...

– Вот... берите... конечно, берите... – Панна Зузинская принялась стягивать перстни, один за другим, поспешно, будто опасаясь, что ожидание девице наскучит. – Все берите... от клиентов благодарных... живы да и ладно, и хорошо... и так их всех помнить буду... от мужа моего покойного свадебный подарок...

Она вполне естественно всхлипнула, только слезы ее девку не разжалобили.

– От мужа, значит? Бывает... ничего, скоро свидитесь.

Обещание прозвучало нехорошо. Себастьяну вообще крайне не нравилась эта ситуация.

Вагон стоял. Отцепили?

Похоже на то... и не просто отцепили, но сняли на другой путь, брошенный... и вопрос – почему? Потому ли, что вагон был в сцепке последним? Или же по иной причине? Зачем такие сложности ради третьего класса, который выбирают априори люди бедные...

– Что стоишь? – Девка оказалась перед Себастьяном, и Сигизмундус, очнувшийся было, вновь предпочел самоустраниться. От девки веяло первобытною дикою силой, которая Сигизмундуса страшила.

– Очки не отдам! – тоненько взвизгнул вежливый Сигизмундус, сам не понимающий, чем ценен ему столь обыкновенный по сути своей предмет.

– Очки и не надо. Деньги давай...

Девка ткнула в лицо револьвером. Весьма невежливо с ее стороны, но действительно...

– Грабят... – Сигизмундус дрожащею рукой протянул кошель. Весьма потрепанный кошель, который и вид имел прежалкий. – Г-грабят...

И всхлипнул тоненько, что, впрочем, девицу несколько не впечатлило. Подбросив кошель на ладони, она хмыкнула:

– Совсем меня за дуру держишь?

Вопрос свой, несомненно весьма важный, она подкрепила душевным пинком по голени, которого трепетная Сигизмундусова душа не выдержала.

Без души, следовало признать, с телом было управляться не в пример легче.

– Настоящие деньги давай...

– Уверяю вас, прекрасная панна, – не очень искренне сказал Себастьян и поморщился, до того жалким, блеющим был его голос, – деньги самые настоящие! Мне их в банке вручили...

– Не эти гроши...

А девица вновь пинком наградила, но больше для порядку и прошипела сквозь зубы:

– Пшел отсюда!

Уговаривать себя Себастьян не заставил, он обнял Евдокию, которой происходящее с каждой секундой нравилось все меньше. Она отдавала себе отчет, что люди, заполнившие третий вагон, вовсе не случайно появились в нем. И более того, появившись, не уйдут без должной добычи.

Вопрос лишь в том, кого они такой добычей сочтут.

– Гля, бабы... – раздалось сзади.

А там и визг. И оплеуха... мат...

– Утомонитесь! – рявкнула девка, отвлекшись на мгновение от Сигизмундусовых вещей, которые она потрошила с немалым энтузиазмом. – Не для того сюда явились...

– А для чего? – шепотом поинтересовался Себастьян. За девкой, которая аккурат выворачивала уродливого вида чумодан, он наблюдал с немалым интересом.

Из чумодана на грязный пол летели Сигизмундусовы рубашки, выбиравшиеся с немалою любовью, клетчатые шарфы, панталоны с начесом... дорожный несесер из дешевой кожи. Его девка осматривала с особой тщательностью, перебирая ножики, ножнички и кусачки так, будто бы надеялась узреть среди них скрытые сокровища.

– Где?!

– Не понимаю вас, милостивая панна. – Сигизмундус вздернул подбородок и шарф поправил, правда, при том в фигуре его не было ни капли величественности, напротив, сама она гляделась гротескною, нелепой.

– Где твои деньги?!

Девица явно злилась. И кусала губы. И с трудом сдерживалась от того, чтобы не ударить Сигизмундуса по лицу.

– У вас, милостивая панна. Если вы запомнили...

– Другие деньги!

– Других нету, – развел руками Сигизмундус. – А ежели вам кто сказал иначе, то он ошибся...

– Сумку ищи...

Посоветовали девице, и она огрызнулась:

– Без тебя знаю...

Сумку она выволакивала из-под лавки, пыхтя от натуги, упираясь обеими ногами в пол.

– Аккуратней, панна! – взмолился Сигизмундус, но услышан не был. Девка, вытащив сумку в проход, выдохнула. И наклонилась.

За девкой следил не только Сигизмундус. Евдокия поняла, что ей самой донельзя любопытно.

Сумку Сигизмундус, едва от Познаньску отъехали, спрятал. И на ручки ее, обмотанные шнуром, повесил замок, который девица пыталась сковырнуть, но, потеряв остатки терпения, попросту отстрелила.

– Экая она... темпераментная, – оценил Себастьян, отступая на шаг. Видать, испытывая некие, как подозревала Евдокия, закономерные опасения, что с темпераментом своим девица не всегда управиться способна.

Она же, распахнув сумку, уставилась на ее содержимое.

– Это... это что такое?

– Книги, – ответил Себастьян, отступил бы и дальше, но был остановлен чувствительным тычком в спину. Судя по калибру, тыкали обрезом, каковой в нонешней ситуации являл собою аргумент неопровержимый.

– Книги?

– Книги. – Себастьян повел плечом, которое зудело.

Организм его этакая близость к обреза нервировала. Организм был против членовредительства, особенно когда вредить собирались ему, а потому желал немедля защититься.

– К-какие книги? – Девка выбрасывала их, одну за другой.

– Ценные. Милостивая панна, я был бы премного вам благодарный, ежели бы вы взяли себе за труд обращаться с книгами аккуратней. Вы и представить себе не можете, до чего они ценны! Да что там, бесценны... я собирал сию коллекцию двенадцать лет... это, за между прочим, «Полный малый справочник нежити». Издание третье, уточненное и дополненное... а это «Упыризм как метафизическое явление»... и «Основные эволюционные изменения крикс на верховых болотах Подляшья»...

Серая книжица полетела в лицо Сигизмундусу. Он книжицу перехватил и, прижав к груди, нежно погладил обложку.

– «Морфологические особенности строения челюстей ламии волошской»... редчайший экземпляр...

– Книги... – выдохнула девка. – Здесь книги!

– Я ж вам сам сказал, милостивая панна... – Сигизмундус пристроил книжицу на полку. – Но вы мне не поверили. Это крайне невежливо с вашей стороны. Я, за между прочим, в жизни еще никому не врал!

Сие было чистой правдой, потому как Сигизмундус уродился существом на редкость честным, что проистекало большею частью от абсолютной его неспособности врать. В детском нежном возрасте и позже, в отнюдь не нежном, но студенческом, Сигизмундус совершал вялые попытки вранья, но бывал разоблачен, пристыжен, а то и бит. Последнее обстоятельство немало способствовало воспитанию в нем честности.

И ныне это качество, безусловно похвальное, грозило обернуться бедой.

– А деньги где? – повторила давешний вопрос девица и насупилась грозно.

– У вас, милостивая панна...

– Это все деньги?

– Нет, – признался Сигизмундус, вытаскивая из кармана два медня. – Вот... закатились

ненароком... Вам нужны?

– И-издеваешься?

– Как можно, милостивая панна?! Я предлагаю! Я же ж не желаю вас вольно или невольно обманывать!

Он совал медни в бледную ладошку панночки.

– Возьмите же ж! Мне для вас последнего не жалко!

– Ты...

– Да, панночка? – Взгляд Сигизмундуса был незамутненный, преисполненный желанием услужить.

– Ты...

– Яська, поздравляю! – гоготнула монашка, хлопнувши девицу по плечу. – Твое ограбление века состоялось!

На сей выпад ответили гоготом.

– Я тебя... – Девица схватилась за револьвер. – Да я тебя...

– Утомонись. – Вторая монахиня толкнула девицу под локоток. – С кем не бывает... хлопец невинный, что книги любит... и что Парнашке сокровища примерещились...

– Я его...

– Панночке дурно? – осведомился Сигизмундус и любезно подал слегка замусоленный платочек.

– Уйди... – Яся ударила по руке с платочком. – Сгинь, чтоб тебя... уходим. Девочек оставьте в покое...

– Яська!

– Чего?! Оставьте, кому сказала, а не то...

– Вот же ж... шалена холера... чтоб тебя... раскомандовалась...

– Если не нравится... – Яська остановилась рядом с громилой, который тискал чужую невесту, та слабо попискивала, но недовольною не выглядела. Напротив, на щеках девки пылал румянец, а глаза подозрительно блестели, да и за руку громилы она хваталась так, будто бы боялась, что если отпустить хоть бы на секундочку, то этакий кавалер, пусть и лишенный некоторых манер, но завидный силою, исчезнет. – Если не нравится, что говорю, то Шаману жалуйся...

Похоже, упомянутый Шаман к жалобам относился безо всякого понимания, да и личностью был серьезной, ежели самого упоминания его имени хватило, чтобы громила сник и девку отпустил.

– Уходим, – повторила Яська и вновь стрельнула в потолок.

– Эк... говорил же, темпераментная, – произнес Себастьян, глядя девице вслед едва ли не с нежностью.

И взгляд этот Евдокии совершенно не понравился.

Разбойники исчезли разом.

Не люди – тени. Вот были, а вот уже и нет... и Евдокия даже усомнилась, были ли они вовсе, не примерещились бы...

Однако неподвижное тело князя-некроманта, у которого хлопотала Нюся, здраво рассудившая, что большое чувство начинается с малого, говорило, что тени оные обладали некоторой материальностью. Да и дырки в потолке...

– Проводник, собака, сдал... – Себастьян поднял книжицу, не то «Морфологию», не то «Метафизику», не то иной, не менее ценный труд. – А панна наша...

– Погодите... – Яська вернулась, чему Себстьян совершенно не обрадовался. И книжку выставил между рыжею разбойницей и собою, будто бы книжка эта и вправду могла послужить защитой.

– Милостивая панна чегось забыла?

– Твоя правда, – Яська кривовато усмехнулась, – забыла... как есть забыла...

– Чего?

– Поблагодарить одного человека...

Нюся, чуя конкурентку – рыжих девок она отродясь недолгоблывала, полагая рыжину в космах Хельмовой меткой, – распростерлась над князем. Этакого жениха она не собиралась уступать без бою. И пушай револьвера у Нюси нема, зато есть мечта и кулаки. А кулаками своими Нюся третьего года кабана зашибла.

Впрочем, поверженный князь разбойницу интересовал мало, она остановилась около панны Зузинской, которая сидела на лавке и, причитая, гладила пальцы. Без перстней они гляделись голыми.

– Узнаешь меня? – поинтересовалась Яська.

– Н-нет... – Панна Зузинская никогда не запоминала лиц, поначалу свойство это несколько мешало ее работе, но когда она соизволила пересмотреть некоторые принципы оной работы, найти, так сказать, альтернативу, то и отсутствие памяти восприняла как благо.

– Даже так, – с мрачным удовлетворением произнесла Яська. – И почему я в том не сомневалась?

Она вытащила револьвер.

Панна Зузинская того не испугалась, поскольку до конца не способна была поверить, что умрет.

И револьвер выглядел едва ли не игрушечным, и девица эта... наглая девица... но безвредная, поелику за жизнь свою и карьеру панна Зузинская перевидала великое множество девиц.

А потому...

Было жаль перстней.

Конечно, ей хватит на новые, да и в заветной шкатулочке в домике приличном, в коем панна Зузинская обреталась, лежат перстней дюжины. И колечки. И цепочки. И прочие мелкие женские радости. Есть даже эгретка из перьев цапли, оставшаяся после одной особенно нарядной невесты...

...и шелковых лент целая коробка.

О лентах думалось, об эгретке этой, надеть которую так и не выпало случая, и еще о том, что надо бы поднять цену, поелику девок вблизи границы не осталось, а с Познаньску возить тяжело, не говоря уже о том, что небезопасно.

– А я все-таки надеялась, что ты нас помнишь, – с печалью в голосе произнесла Яська, прозванная в народе Рудой.

И спустила курок.

Хлопнул выстрел. Заголосила, оживая, девка, чьего имени Яська не знала, зато знала, что ныне у этой девки появился шанс. Выйдет ли она замуж, как того желала, останется ли вековухой, домой ли вернется, аль, понадеявшись на удачу, сгинет в городе – дорожек множество, но та, что ведет на Серые земли, ныне для нее закрыта.

Яське хотелось бы верить.

Тогда, глядишь, и не зря она руки кровью измарала.

## Глава 8

# О результатах библиотечных изысканий, назойливых посетителях и хитроумных планах

*Место клизмы изменить нельзя.*

*Истина, изреченная неким медикусом, пожелавшим  
остаться неизвестным*

Евстафий Елисеевич маялся язвою. Ожившая третьего дня, та всякую совесть потеряла, ни днем ни ночью не давая покоя исстрадавшемуся познаньскому воеводе. Можно подумать, у него иных забот мало.

Нет же, колдовкина тать, мучит, терзает-с.

Не дает ни вдохнуть, ни выдохнуть.

И оттого норов Евстафия Елисеевича, без того не отличавшийся особой благостностью, вовсе испортился. Сделался познаньский воевода раздражителен, гневлив без причины...

Правда, ни о язве, ни о гневливости, ни уж тем паче о беспокойстве, которое снедало Евстафия Елисеевича с той самой минуты, когда в городе объявился волкодлак, неожиданный посетитель не знал. Он объявился в кабинете спозаранку, непостижимым образом миновав дежурного, преодолев два этажа да великое множество лестниц, а затем и две двери, что вели в приемную.

В кабинете Евстафия Елисеевича посетитель расположился вольно, если не сказать вольготно. Он откатил кресло, для посетителей назначенное, к стеночке, сел в него, сложивши на коленях руки, а тросточку вида превнушительного сунул под мышку. Так и сидел, с преувеличенным вниманием разглядывая вереницу портретов, кои стену украшали.

Портреты были сплошь государевы.

– Здравствуйте, – сказал посетитель, завидевши познаньского воеводу, который от этакой наглости обомлел, а потому и ответил:

– И вам доброго дня.

Ныне язва терзала Евстафия Елисеевича всю ночь, не позволивши ему и на минуту глаза сомкнуть. А оттого был познаньский воевода утомлен и раздражен.

– А я вас жду. – Гавриил неловко сполз с кресла, которое ему представлялось чересчур уж большим. Нет, выглядело оно пресолидно, достойно кабинета воеводы, но вот было на удивление неудобным.

Скрипело. И скрежетало. И норовило впиться в спину шляпками гвоздей, что было вовсе невозможно терпеть.

– И зачем вы меня ждете? – Евстафий Елисеевич не скрывал раздражения.

– Поговорить.

Гавриил широко улыбнулся.

Он читал, что улыбка располагает людей, вот только нонешним утром Евстафий Елисеевич не был склонен располагаться к людям в целом и к данному конкретному человеку в частности. Евстафий Елисеевич прижал ладонь к боку – язва опять плеснула

огнем, отчего показалось, что сами внутренности поплавило, – и дал себе зарок ныне же заглянуть к медикусу.

Тот давненько на воеводу поглядывал, намекая, что этак недолго на государевой службе и костями лечь, и прочею требуюю. Медикус при управлении служил серьезный, мрачного вида и черного же юмора человек, какового Евстафий Елисеевич втайне опасался.

А вот, видать, придется на поклон идти...

– И о чем же, – сквозь зубы произнес Евстафий Елисеевич, сгибаясь едва ли не пополам, – боль была ныне почти невыносимой, – вы хотели бы со мною поговорить?

– О маниаках!

Признаться, вид познаньского воеводы Гавриила встревожил.

Нет, выглядел тот солидно, но вот... бледен, и неестественно так бледен, до синевы под глазами, до вен, что выпятились на висках. И сердце бьется быстро-быстро.

Гавриил слышит его, ритм неровный, рваный, будто бы бежал Евстафий Елисеевич.

А на висках его пот блестит крупными каплями, бисеринами даже.

Дышит хрипло.

– Вам дурно? – поинтересовался Гавриил, испытывая преогромное огорчение, поелику весьма рассчитывал, что к нынешним его аргументам, самому Гавриилу представлявшимся вескими, неоспоримыми даже, познаньский воевода отнесется с пониманием.

И уделит делу приоритетную важность.

Быть может, даже позволит самому Гавриилу помогать полиции. Скажем, во внештатные агенты возьмет-с.

Или даже в штатные... эта мысль, появившаяся внезапно, показалась вдруг невероятно привлекательной. Вот только...

– Мне хорошо, – просипел Евстафий Елисеевич, сгибаясь, кляня себя за то, что прежде-то к язве относился несерьезно, полагая ее едва ли не блажью.

– Да? – Гавриил потенциальному будущему начальнику не поверил. – А чего у вас тогда глаза такие?

– К-какие?

– Выпученные.

– От удовольствия, – рявкнул Евстафий Елисеевич, теряя остатки терпения. – Тебя видеть рады!

Он хотел добавить еще что-то, но пламя, пожиравшее внутренности, стало вовсе нестерпимым. И он не удержал сдавленный стон.

– Вам плохо, – с уверенностью произнес Гавриил, пытаясь понять, как же быть дальше.

На помощь позвать? Но кого?

От познаньского воеводы пахло болезнью и, пожалуй, кровью... он закашлялся, вытер губы рукавом, и запах крови сделался резким.

– Ждите, – решил Гавриил. – Я скоро. Я вас спасу!

Евстафий Елисеевич вовсе не желал, чтобы спасали его всякие подозрительные личности, однако возразить не сумел. Рот его наполнялся кислой слюной, которую познаньский воевода сглатывал и сглатывал, а слюны не становилось меньше. Вкус ее изменился... и когда его вырвало, насухо, желтой желчью, то в желчи этой он увидел бурые кровяные сгустки.

Норовистою была его язва.

Здание полицейского управления показалось Гавриилу огромным. Он вертел головой,

пытаясь уловить из тысячи запахов, в нем обретавших, тот самый, который приведет к медикусу.

От медикусов всегда пахло одинаково: касторкою, ацетоном и еще аптекарскими порошками. И нынешний не стал исключением.

Он обретался в дальнем кабинетике и, к счастью, имел привычку являться на работу затемно. Происходила сия привычка единственно от личной неустроенности, которая, в свою очередь, проистекала от дурного норова и исключительной неуживчивости пана Бржимека.

Его и в полицейском-то управлении с трудом терпели.

– Чего надо? – осведомился он на редкость нелюбезным тоном, от которого любой иной посетитель, верно, растерялся бы, залепетал извинения. Но Гавриил лишь головою тряхнул:

– Воеводе плохо.

– Насколько плохо? – Пан Бржимек подхватил кофр. О состоянии своих пациентов он предпочитал узнавать уже в пути, даже если путь сей занимал всего-то этажа два.

– Совсем плохо...

– Совсем плохо – это еще не диагноз.

Гавриил не обиделся. Напротив, типус сей, мрачный, сосредоточенный, напоминал ему приютского медикуса, единственного, пожалуй, человека, относившегося к самому Гавриилу если не с симпатией, то с явным сочувствием.

– Бледный. Взопрел. Глаза выпучил, – принялся перечислять Гавриил, загибая пальцы. Ему приходилось подстраиваться под широкий шаг пана Бржимека, который слушал и кивал. – А еще кровью пахнет.

– Сильно? – Это обстоятельство медикуса заинтересовало настолько, что он остановился и даже смерил Гавриила скептическим взглядом.

– Сильно.

– Свежей или так?

– Свежей, пожалуй, – согласился Гавриил.

– Язва, значит... догулялся... говорили ему, говорили... но кто ж слушает... все ж себя вечными полагают... – Дальше медикус двинулся рысцой.

А Гавриил остался.

Очевидно же, что оказия для беседы о серийных маниаках с Евстафием Елисеевичем случится не скоро... к кому другому идти? К кому?

Полицейских в управлении великое множество, но ни один из них не внушал Гавриилу хоть какого доверия. Гавриил подозревал, что слушать его не станут, в лучшем случае посмеются, а в худшем объявят безумцем, спровадят еще в лечебницу...

И как быть?

А так, как до сего дня... сам разберется. В конце концов, у него и подозреваемый имеется, и жертва потенциальная. Осталось малое – найти убедительные доказательства вины.

Еще лучше – задержать на месте преступления.

Голосили.

Были громко, с переливами, с поскуливаниями да причитаниями, от которых на глаза наворачивались слезы. Евдокия моргала часто, но слезы все равно катились.

С чего бы?

Она ведь не знала панну Зузинскую... не настолько, чтобы горевать по ней искренне...



и вовсе горевать... смешно как – по колдовке горевать... она ведь намеревалась сделать с Евдокией... что сделать?

Неизвестно.

Но уж точно не замуж выдать.

– Спокойно, – произнесли рядом, и голос этот разорвал пелену всеобъемлющего горя.

Евдокия всхлипнула.

– Это тебя отпускает... это от наговора... ты, Дусенька, оказывается, нежное создание, – произнес Себастьян, как показалось, с упреком. Но вот голос его – именно его, а не Сигизмундуса – был на удивление мягок. – Знал бы...

– И что? – Она смахнула слезы с глаз.

Надо же... и вправду сердце щемит, и на душе тошно, тянет вновь разреветься. Но Себастьян держит, прижимает к себе, гладит по голове, будто бы она, Евдокия, дитя. Или, хуже того, нервическая барышня... а она и вправду нервическая барышня, ежели по такому пустяку в слезы.

Или не пустяку?

Чужая смерть – это ведь не пустяк.

– В монастыре б оставил.

– Не хочу в монастырь...

– А кто в монастырь хочет? – Он отстранился. – Но ничего... привыкают... все, успокоилась?

– П-почти. – Евдокия облизала мокрые губы. – Я... не понимаю почему...

– Потому что она колдовка. К тебе прилепилась. А теперь померла, вот связь и разорвалась. Не только с тобой.

Были несостоявшиеся невесты. Стояли над телом. Держались за руки. И голосили... Евдокия испытала преогромное желание к вою присоединиться, но с желанием этим сумела справиться.

Колдовка.

Связь.

И всего-то... пройдет...

– А теперь, дорогая кузина, – нарочито бодрым тоном произнес Себастьян, поправляя шарф, – нам следует поторопиться, если мы не хотим упустить наших дорогих друзей.

– Что?

– Пора нам, говорю...

И за руку дернул. Прикосновение пальцев его, каких-то неестественно горячих, окончательно разрушило морок. А Себастьян уже тянул за собой.

– К-куда?

Евдокия только и успела, что поднять ридикюль с револьвером. И ведь помнила же, что в руках держала, а нет, лежит на полу рядом с телом.

Панна Зюзинская мертвой выглядела... нестрашной. Ненастоящей. Юбки, кружево... волосы... лицо бледным пятном. Глаза распахнуты. Не человек – кукла, постаревшая до срока.

– Не смотри на нее, – приказал Себастьян. – И шевелись, Дуся... шевелись...

Проводник лежал в тамбуре. И, кажется, был мертв... определенно, был мертв. Евдокия заставила себя не смотреть на тело и вцепилась в тощее Сигизмундусово запястье.

– Осторожней, кузина, руку сломаете... у меня, за между прочим, организм нежный,

к насилию не приученный...

– Ничего. Приучим.

Себастьян рассмеялся.

– Так-то лучше, Дуся... радость моя, ты мне ничего сказать не хочешь?

Сказать? Она не знала, что Себастьян желал услышать.

Дурнота отступила, и вой, доносившийся из вагона, ныне скорее раздражал, нежели вызывал желание к нему присоединиться.

– Где мы?

– А чтоб я знал...

Небо низкое, черно-серое, будто бы из дрянного атласу, который вот-вот разлезется, а то и вывернется, выставит гнилую изнанку.

Ни луны.

Ни звезд.

Дорога... стальные полосы, ушедшие в землю. Перекосившийся вагон, в эту самую землю зарывшийся. Ключья серой травы на ржавых колесах. Пробоины.

И степь.

Евдокии случалось видеть такое вот безбрежное травяное море, по которому ветра гуляли привольно. И под тяжестью их клонились к земле белокобые ковыли. Но в степи пахло иначе.

Сухою землей.

Солнцем.

А тут... тяжкий запах застоявшейся воды, не болота даже, но той, которая зацветает не то в брошенном колодце, не то в пруду, когда умирают питавшие оный пруд родники.

– Похоже, прибыли. – Себастьян озирался с немалым любопытством. – К слову, Дусенька... не знаю, как тебе, а мне тут неуютненько...

И вправду неуютненько. Не жарко, но и не холодно. Земля сухая. И трава сухая, колется, норовит уязвить ладонь. Ноги проваливаются по щиколотку, и каждый шаг поднимает облачко пыли. От пыли этой в горле першит, и Евдокия прикрывает рот платком.

– Идем. – Себастьян повел носом. – А то не хотелось бы потеряться здесь...

С этим Евдокия была согласна.

Не хотелось бы.

Вернуться бы в вагон... и ждать... должны же их искать? И если так, то найдут... спасут... ко всему нельзя бросать людей. Там женщины и...

Евдокия тряхнула головой. Да когда же это закончится?!

– А они? – Она вцепилась в Себастьянову руку, надеясь, что этой ее нынешней слабости он не заметил. – С ними что?

– По рельсам выйдут. – Себастьяна судьба пассажиров совершенно не беспокоила. – Дуся, не волнуйся, с ними вон цельный некромант остался.

Некромант открыл глаза.

Голова гудела. Непривычно гудела. И то верно, ведь прежде не находилось людей столь бессовестных, а главное, бесстрашных, которым бы вздумалось причинять членовредительство некроманту. Некромантов люди опасались.

Он со стоном сел, ощупывая голову.

– Выпейте. – Под спину поддержали, а в руки заботливо сунули фляжку, к которой

некромант приник, ибо пить хотелось неимоверно.

Правда, первый же глоток едва не встал поперек горла. И горло это опалило.

– Крепкая, – довольно произнесли над ухом и по спине похлопали с немалой заботой, во всяком случае, некромант надеялся, что это забота, а не попытка его добить. – Дядька Стась ее на конопляном цвету настаивает...

– К-кого?

– Самогоночку...

Конечно, самогоночку... самогоночки некроманту до сего дня пробовать не доводилось, поелику что происхождение его, что состояние позволяли потреблять напитки более благородные.

Самогонка жгла внутренности. И некромант подумал, что умрет. Он застыл с разинутым ртом, тяжело дыша, и Нюся не упустила момент, подняла фляжечку. Дядькин самогон еще никогда не подводил!

Некромант плотнул.

И еще раз... и огонь во внутренностях притих, зато по телу разлилось тепло удивительное, мягкое. И такая благодать это самое тело охватила, что из всех желаний осталось одно – лежать и думать о высоком...

– Полегчало? – поинтересовалась Нюся, бутылку убирая.

И рядышком присела, провела рукою по волосам, дивясь тому, до чего они мяконькие, сразу видна княжеская порода.

– Хорошо-то как... – пробормотал некромант.

– Нюся...

– Хорошо-то как, Нюсенька... – Он прикрыл глаза. – А чего тут было?

– Ограбление...

– Ограбление, – мечтательно произнес некромант, который и вправду был князем, хотя происхождение свое скрывал, полагая, что одною славой предков жить не будешь. – И кого грабили, Нюся?

– Так ить... вас. – Нюся фляжечкой потрясла.

Выпил-то некромант немного, пару глоточков всего, да, видать, слаб был телом. Небось князь – это вам не дядька Стась, который полведра всадить способный и на плясовую пойти.

– Меня? – удивился некромант. Впрочем, удивление было вялым, ибо ныне князь пребывал в преудивительном состоянии гармонии что с собою, что с миром.

– И прочих тож. Панну Зузинскую застрелили, – пожаловалась Нюся, подвигаясь ближе.

И князь был вовсе не против этакой близости. Напротив, и сама девка, и, что важнее, фляга в ее руках показались ему родными. Он Нюсю и приобнял.

– Жалость какая... а хочешь... хочешь, я ее подниму?

Ему вдруг возжелалось совершить подвиг во имя прекрасной дамы. А в нынешнем его состоянии Нюся представлялась прекрасней всех познаньских барышень разом. Ему были милы и ее простоватость, и нелепое платье, в котором виделся признак душевной склонности к эпатажу и вызов обществу, и манера речи. Некромант вдруг явно осознал, что влюбился.

– Зачем? – удивилась Нюся. – Пушай себе лежит...

– Пушай. – Некромант нахмурился. – А чего она тут лежит?

Вид мертвого тела был ему привычен.

– Так где застрелили, там и лежит.

Девки устали выть и теперь тихонько поскуливали. Им, в отличие от Нюси, было страшно.

– Нет, непорядок. – Некромант взмахнул рукой. Сила, переполнявшая его, требовала немедленного выхода. – Пусть полежит где-нибудь еще...

Панна Зузинская дернулась.

И девки завизжали. Нюся бы тоже завизжала, но от страху этакого – живых мертвяков встречать ей не приходилось – голос переняло. Она разевала рот, точно рыба, не способная сказать ни словечка.

Тело дергалось.

Некромант хихикал. Ему все происходившее представлялось донельзя забавным. Он даже удивился тому, что прежде не играл этаких вот шуток.

– Цыц! – сказал он девкам, и панна Зузинская повторила приказ.

Девки смолкли. Они забились в самый угол вагона, вцепились друг в друга, боясьдохнуть.

– Ведите себя хорошо! – скрипучим неживым голосом произнесла панна Зузинская. На ноги она поднялась. И пальчиком погрозила.

А после, повинувшись некромантовой воле, двинулась к концу вагона.

Нюся сглотнула. И приникла к заветной фляге. Дядькин самогон был крепким. Зато и действовал моментально.

– Не бойся, Нюся. – Некромант воспользовался мгновением женской слабости, чтобы Нюсю обнять. Она же не стала противиться, здраво рассудив, что дать в глаз за лишние вольности всегда успеет. – Я тебя защитю! Тьфу ты... защитю...

И, окинув разомлевшим взглядом Нюсины обильные прелести, добавил тихо:

– Защитю... затащу...

– Куда это ты меня затащить собрался? – поинтересовалась Нюся.

– Так это... под венец! – нашелся некромантус, и идея сия показалась донельзя здоровою.

А и вправду, как это прежде он не додумался до такой очевидной мысли: пора жениться!

Князь он будущий или так, хвост собачий?

А князю без жены никак невозможно... и отец о том твердит не первый уж год, сетуя, что разумная жена небось сыскала бы способ отвадить единственного сына и наследника от занятий, не совместимых с гордым княжеским званием. Оттого и норовил подсунуть девок бледных, томных, при одном упоминании о мертвяке падающих в обморок. И девицы сии донельзя некроманта раздражали никчемностью своей.

То ли дело Нюся!

Сидит. Фляжечку с самогоном – а чудесный напиток, и как это прежде князю не доводилось его пробовать? – к груди прижимает трогательно... и такое душевное волнение вызывает она картина, что жениться тянет прям тут.

– Под венец? – Нюся фляжечку погладила, думая, что права была маменька, говоривши, что путь к сердцу мужчины через требуху евонную лежит. Правда, не борщи варить надобно, а самогоночку... – Под венец... пойду.

Она не стала томить кавалера ожиданием: вдруг да передумает?

Да и девки смолкли.

Страх перед мертвой свахой, которая, если подумать, ничего-то дурного сотворить не сумела, а напротив, убралася с глаз долой да и сидела себе тихонько в углу вагона, отступил перед исконным девичьим желанием выйти замуж.

Этак дашь слабину и в вековухах останешься.

– Нюся! – Согласие, которого некромант ожидал с обмершим сердцем – вдруг да откажет, небось серьезная девушка, не чета прочим, – наполнило его радостью. – Нюся, я весь твой! Давай жениться...

И попытался воплотить благородное это намерение в жизнь.

Процесс женитьбы в нынешнем сознании князя был тесно связан с иным процессом, который должен был бы привести к продолжению древнего рода, однако порыв сей душевно-телесный был остановлен Нюсей.

– Сначала в храм, – сказала она строго.

– А где тут храм?

В храм некромант готов был идти.

– Где-то там. – Нюся выглянула из окошка и рассудила: – Надобно по рельсам идти. Тогда, глядишь, и придем куда...

– К храму?

– К храму, – согласилась она, прикидывая, хватит ли дядькиного самогону, чтобы жених выдержал и путь, и венчание. По всему выходило, что расходовать драгоценную жидкость надобно с большой осторожностью.

На беду князя вагон от основной ветки отогнали всего на две мили, которые он в любовном томлении одолел быстро. А на станции отыскался жрец, каковой следовал до Путришек с благородным намерением основать там храм Вотана-заступника и силой веры способствовать возрождению клятых земель. К намерению некроманта, несколько запылившегося, но все одно бодрого, одержимого страстью к Нюсе, он отнесся благосклонно.

Брак был заключен прямо на станции.

Невесте вручили букет сухого ковыля. Жениху – кольцо, любезно проданное станционным смотрителем за десяток злотней. Несколько смущала фляга, с которой жених не сводил жадного, можно сказать, влюбленного взгляда. Хотя, может, и не с фляги, но с пышной невестиной груди...

Как бы там ни было, проснулся некромант с жутким похмельем.

А хуже того, женатым.

...спустя три месяца познаньский высший свет имел счастье свести знакомство с княжной Нюсей, тяжелой ее рукою, каковую она не стеснялась пускать в ход, не делая различий меж чинами, и главное, с чудесной самогонкой на конопляном цвету...

Себастьян шел уверенно.

И Евдокия едва поспевала за ним. Но чем дальше она шла, тем спокойней становилась.

– Погоди... ты уверен, что...

– Мы идем правильно. – Себастьян указал пальцем на тропу. – Ее явно топтали не олени.

С этим Евдокия была согласна хотя бы потому, что олени на Серых землях не водились. А она больше не сомневалась, что находится именно здесь.

И вправду серые.

Что небо, что земля, что трава... приглядишься – вроде бы и зелень есть, да только какая-то тусклая, будто бы припорошенная пылью.

– Нет, я не сомневаюсь, что мы идем правильно. Я не понимаю, зачем мы вообще идем за ними? Не проще ли вернуться по рельсам...

– И угодить в теплые объятия полиции? Или военного ведомства? – Себастьян остановился. – Дуся, ты же не думаешь, что останавливали нас исключительно из желания провести альтернативную перепись населения и узнать, у кого в королевстве хвост имеется?

– Тебя искали.

– Меня. И нашли бы. Будь тот улан поумней чутка, мы бы так легко не отделались. И не отделаемся, если высунем нос...

– Но... – Евдокия растерялась.

Выходит, что план ее никуда не годен? Дойти до заставы. Нанять проводника. Людей в сопровождение...

– погоди. – Евдокия остановилась. – Я понимаю, почему мы не пойдём на заставу, но тебе не кажется, что разбойники – это несколько чересчур?

– Дуся, все это место – несколько чересчур. Я, за между прочим, метаморф. У меня натура тонкая. Чувствительная. Я, быть может, к подобным испытаниям не предназначенный...

Воздух тяжелый, влажный.

Странно как... трава сухая, мертвая трава, несмотря на пыльную свою зелень, а воздух влажный, да так, что юбки Евдокиины влагой напитались, липнут к ногам. И жакет, и платок, который она уже давно у лица не держала, но сжимала в руке. Платок этот сделался невыносимо тяжелым, не говоря уже о ридикюле.

– Нам нужен проводник. – Себастьян отер пот со лба.

– Думаешь, предоставят?

– Думаю, договоримся... у меня рекомендации имеются к надежному человеку. – Он вдруг закашлялся и согнулся пополам. – П-р-р-роклатье... сейчас... воняет-то как...

...болотом.

...багную темной, которая прячется под тонким ковром осоки. И норовит схватить за ногу, затянуть, облизать... отпускает, но лишь затем, чтобы наивная жертва, решившая, будто бы ковер этот безопасен, сделала следующий шаг. И еще один. И потом, когда безопасный край станет недостижимо далек, багна вздохнет. От этого вздоха ее разлезется гнилое кружево мхов под ногами, раскроется черный зев стылой воды...

Пахло этой водой.

И еще мертвяками. Утопленниками, каковых время от времени выносила на Стылый кряж ленивая Висловка. Мертвецкой. И старым погостом. Даже не старым, но древним, таким, который, быть может, помнил времена, когда сия земля принадлежала дрыгавичам...

Запахи эти оседали в легких тиною, пылью меловой, грязью, от которой, чуял Себастьян, не избавиться.

– С тобой все хорошо? – Евдокия оказалась рядом.

И сесть помогла.

– Нет. Но пройдет. – Себастьян попытался усмехнуться, но вело... как после хорошей попойки повело, правда, не в пляс, но в сон. И ведь ясно, что нельзя спать, а тянет, тянет. И земля уже глядится едва ли не периною, а то и мягче. – Пройдет, Дуся... пройдет... вот скажи мне...

Сглотнул вязкую слюну.

– Что сказать?

– Что-нибудь...

Нельзя спать. Вставать надобно, даже если через силу.

– Думаешь, разбойники твои рекомендации примут?

– Надеюсь, что примут.

Правильно, о деле надобно думать. Мысли о деле всегда спасали. И теперь полегчало.

Разбойники.

Не случайные, явно не случайные... случайные люди не рискнули бы вагон отцепить... тут и про боковую ветку знать надобно. И с проводником в стовор войти... небось не первое дело, только до того не вагоны брали, а людишек.

Мало ли кто исчезает в Приграничье? Приграничье – оно такое... был человек, и не стало.

А тропа эта явная, пролегшая в сизых травах, не сама собою появилась.

Значит, надо встать и идти.

Надеяться, что не послышалось Себастьяну в вагоне... и что господа-разбойники, донельзя разочарованные нынешним неудачным налетом, не станут стрелять сразу... обидно будет, если станут.

– Нам без проводника здесь делать нечего...

Он шел, опираясь на Евдокиино узкое плечо. Не по-женски крепкое плечо. И, пожалуй, опирался чересчур уж, да Евдокия не жаловалась. Терпела.

Себастьян был ей за то благодарен.

Становилось легче. Нет, не исчезли запахи, не ушло чувство опасности, но словно бы поблекло, подернулось кисейною завесой.

Кажется, метаморфы не столь уж нежны, как о том писали...

– Стой, кто идет? – раздалось вдруг, и над ухом свистнула стрела.

– Я иду! – отозвался Себастьян, останавливаясь.

И Дусю за спину задвинул. К счастью, возражать и геройствовать она не стала.

– Кто «я»? – подозрительно поинтересовался голос, но стрелами больше пуляться не стал, все радость.

– Я, Сигизмундус...

А стрелка разглядеть не выходило.

Колыхалось все то же сизое море травы, ветер чертил узоры...

– У меня к Шаману дело!

– Какое?

– Важное! – Себастьян выпрямился и шарфик влажный поправил.

Стрелок замолчал.

Исчез?

Или крадется, он, проведенный в этих местах не один год, выучил их повадки, сроднился, оттого и не выдают его ни ветер, ни травы, ни даже запахи.

– Сигизмундус, значит. – Из травы вынырнул паренек самого безопасного вида.

Он был круглолиц, круглоглаз и конопат до того, что кожа его гляделась рыжею. Голову его прикрывал мятый картуз, не особо сочетавшийся с некогда роскошным камзолом темно-зеленого бархата. Правда, ныне бархат пестрел многими пятнами, на локтях прохудился, шитье и вовсе истрепалось.

– Ну чё, Сигизмундус, – в руке парень держал арбалет вида весьма сурьезного, – считай, пришел... и девка твоя тож пришла. Гы... Шаман гостям завсегда радый...

Сказал он это радостно. Слишком уж радостно.

– Руки до гуры! – рывкнул парень и арбалетом под ребра ткнул, чем привел Сигизмундуса в состояние, близкое к панике. – А вы, прекрасная паненка, не отставайте...

Выяснить, где обретается известная в узких кругах писательница-романист, получилось не сразу. Ушло на то полдня времени, а еще полсотни злотней, ибо без оных люди, имевшие к оной писательнице непосредственное отношение, отказывались с Гавриилом беседовать.

Да и, злотни принимая, разговаривали снисходительно, будто бы с душевнобольным.

Впрочем, сие Гавриила не беспокоило.

У него имелась цель.

Благородная.

И следовательно, способная искупить все иные его, куда менее благородные, деяния. И не только его...

Проживала панночка Эржбета в квартале Булочников, в верхней его части, каковая вплотную примыкала к Белому городу, а потому считалась «чистою», свободною и от попрошак, и от куда более криминального элемента.

Улочка Бежмовецка отличалась той удивительной чистотой и степенностью, которая свойственна улочкам, где обретаются люди заможные.

И Гавриил на этой улочке чувствовал себя чужаком.

Сияли витрины, и стены домов, крашенных в белый яркий колер, и листва низкорослых вязов, круглые булжники мостовой и те поблескивали, будто бы натертые воском. Неторопливо прогуливались паны и панны, раскланивались друг с другом, порой останавливались, чтобы перекинуться словечком-другим. И такая во всем была неторопливость, сонность даже, что мухи и те здесь летали медленно, с чувством собственного достоинства.

Пятый дом, который, собственно говоря, и являлся целью Гавриила, принадлежал некой панне Арцумейко, потомственной булочнице, ныне, правда, от дел отошедшей. Да и то, женское ли дело у печи спозаранку стоять, когда сыновья взрослые имеются? А при них и невестки. Панна Арцумейко сыновей любила, невестками помыкала, однако же без особой злобы, скорее порядку ради и еще от скуки, которою маялась, Впрочем, как и почти все обитатели улочки.

Со скуки она и решилась на небывалое: сдать комнаты.

И жиличку выбирала придирчиво, силясь совместить невозможное: чтобы жиличка искомая была, во-первых, девицею приличной, не то что нонешние. А во-вторых, интересной.

Эржбету ей порекомендовала почтенная вдовица, с которой панне Арцумейко случалось сходить за партией лото. Вдовицу она, признаться, недолюбливала за нечеловеческое везение последней и неспособность промолчать, выигрывая. Однако же когда вдовица объявила о своем отъезде – скука доконала, а в Краковеле внук родился, вот и зовет сынок родный на проживание, на помощь женушке, – испытала преогромное огорчение. В конце концов, иные гости дамского клуба нравились панне Арцумейко еще меньше.

Вдовица и рассказала о жиличке, девице благородного происхождения, каковая не иначе как по дури девичьей, по молодости возжелала писательской славы и из дому сбегла. Дамы сошлись на том, что в прежние преблагостные времена девицу бы, несомненно, домой повернули, выпороли разок-другой аль в монастырь сослали б на перевоспитание. Тогда б и дурь вышла, а ныне такое делать невозможно, вот и живет, бедная, в заблуждениях, думает,



что будто бы бабье счастье в буковках скрывается.

Панна Арцумейко девицу приняла, сама себе сказав, что совершает сие исключительно из благих побуждений, дабы несчастная наивная Эржбета не связалась с дурной компанией, а паче того, не ступила на путь порока.

За последним панна Арцумейко следила особенно строго.

И Гавриила она окинула взглядом цепким, неприязненным, от которого он несколько смутился, и, не зная, что еще сделать, чтобы сухощавая женщина в поплиновом платье глянула добрей, протянул ей розы.

Розы были куплены для Эржбеты.

В качестве извинения, ибо словами у Гавриила извиняться не получалось.

– Кто таков? – Розы панна Арцумейко приняла, оценив и вид, и цвет, и стоимость. А в цветах она разбиралась неплохо, даром что сестрица ее родная за цветочника вышла.

– Гавриил. – Гавриил снял шляпу из светлой соломки и под мышку сунул. – Мне бы с панночкой Эржбетой... свидеться...

Панна Арцумейко нахмурилась.

Нет, жиличка была дома, только-только встала... она ведь имела пренеприятную привычку ходить по комнате допоздна, а порою и принималась стучать по клавишам печатной машинки модели «Белльвиль», каковая на взгляд панны Арцумейко была просто-таки неприлично громкою. Настучавшись, жиличка отправлялась в постель, из которой вылезала ближе к обеду. А где это видано, чтобы женщина пристойная вела себя подобным образом? Сама панна Арцумейко по давней привычке вставала о шестой године, и невестки ее, коим она имела обыкновение звонить поутру, уже не спали... а эта...

– По делу, – уточнил Гавриил.

– Из издательства, что ли? – Панна Арцумейко разом подобрела.

Втайне она надеялась, что в один прекрасный день издательство откажется печатать экзерсисы жилички. Не со зла, о нет. Скорее уж наоборот. Глядишь, тогда и очнется та, осознает глубину своих заблуждений, раскается, вернется под родительское крыло...

В общем, станет такою, какою положено быть женщине.

– Да, – ответил Гавриил и густо-густо покраснел.

Он убеждал себя, что этакая ложь исключительно из благих побуждений. Иначе не пустят его за кованую оградку, во дворик махонький, в котором уже стоял плетеный столик под белою скатерочкой. На столике возвышался самовар, а в тени его ютились чашки и чашечки, наполненные вареньем.

Варенье панна Арцумейко очень жаловала и любила вкушать пополудни, обязательно во дворике, откуда открывался пречудесный вид на улицу и на соседний двор...

– Вам на второй поверх. – Панна Арцумейко махнула в сторону лестницы, раздумывая, не стоит ли проводить гостя.

Или же вернуться в гостиную? Там стены тонкие, все слышно будет... особенно если со слуховую трубкой, купленной исключительно по случаю...

Эржбета пребывала в дурном настроении, причин для которого имелось множество. И первую было письмо от дорогой матушки, где она в выражениях изысканных, но все одно холодных укоряла Эржбету за поведение, не подобающее шляхетной панночке. А заодно уж взывала исправиться и, что куда актуальней, исполнить наконец дочерний долг и выйти замуж.

Взывала она о том давно, и прочие взывания Эржбета со спокойным сердцем

отправляла в камин, однако ныне матушка, отчаявшись, верно, достучаться до разума дочери, пригрозила, что даст ее адрес потенциальному жениху. Был он, по словам матушки, всего-навсего баронетом во втором колене, что, конечно, являлось преогромным недостатком, зато приданого не требовал, а главное, сам готов был оказать семейству вспомоществование.

Пожалуй, именно это обстоятельство и заставило матушку столь радеть о браке.

Эржбете замуж не хотелось.

Совершенно вот не хотелось, тем более за какого-то там баронета во втором колене, имени которого матушка не удосужилась сообщить. Но письмо, отправленное, как и предыдущие, в камин, не шло из головы. А вдруг и вправду даст адрес?

И что тогда Эржбете делать-то?

Второю причиной дурного настроения, куда как, по мнению Эржбеты, важною, был творческий кризис. Как вышло, что герой, показавшийся сперва личностью порядочной настолько, насколько вообще сие понятие свойственно мужчинам, вдруг повел себя непостижимо? И вместо того чтобы наброситься на героиню в порыве страсти, опрокинуть ее на ложе, заботливо поставленное Эржбетой в комнате – а действие, в нарушение всяких норм морали и нравственности, происходило в спальне героя, – попытался загрызть несчастную девственницу? Разве можно подобным образом с девственницами поступать?

Да и она не лучше.

В трепетном создании, столь любовно рисуемом Эржбетой, вдруг проснулся здравый смысл, который и подсказал, что связываться с волкодлаком, князь он там или нет, не станет ни одна идиотка, даже влюбленная. И влюбленности у девицы поубавилось.

Оно и ладно бы, но как дальше быть Эржбете?

Главное, в голове звучал мягкий, с приятною хрипотцой голос: «Волкодлаки так себя не ведут...»

Нашелся специалист...

Может, обыкновенные и не ведут, а вот ежели влюбленные... влюбленных волкодлаков ему вряд ли случалось встречать. И Эржбета со вздохом прикусила ложечку.

Завтракала она кофею, не столько из опасения за фигуру, сколько по сложившейся уже привычке. И эта привычка, как и многие иные, донельзя раздражала квартирную хозяйку. Раздражение свое она облекала в форму премудрых советов, которыми потчевала Эржбету щедро... столь щедро, что поневоле возникала мысль о перемене квартиры.

И оттого, когда в дверь постучали, Эржбета открыла ее, не удосужившись поинтересоваться, кто же явился в столь ранний для нее час, уверена была, что явилась аккурат панна Арцумейко, желавшая всенепременно сообщить, что приличные девушки завтракают не кофею, а сваренною на воде овсянкою, в которую еще яблочко потереть можно, и будет сие полезно для цвету лица...

Эржбета хотела ответить, что овсянку ненавидит, но...

Панны Арцумейко не было.

Зато был вчерашний знакомец из библиотеки.

В полосатом костюмчике, со шляпою, которую он локотком прижимал к боку. А второю рукой торопливо приглаживал взъерошенные волосы.

И когда дверь распахнулась, отступил. Глянул на Эржбету.

И смутился.

Конечно, смутился, иначе с чего бы ему краснеть-то? А покраснел он густо-густо, будто свекольным соком измазался... кажется, про свекольный сок, тоже исключительно

полезный, говорила панна Арцумейко...

– Д-доброе дня, – слегка заикаясь, произнес Гавриил.

Он старался не глазеть на панночку, которая в домашнем халатике, наброшенном поверх ночной рубашки – следовало сказать, рубашки тонюсенькой, прозрачной почти, – была на диво хороша.

– В-вы?

Эржбета вдруг поняла, что выглядит совершенно неподобающим образом. И дверь захлопнула.

– Панночка Эржбета! – донеслось из-за двери. – Мне с вами поговорить надобно!

По важному вопросу...

По какому такому вопросу? Ведь не из-за волкодлака, ведущего себя не так, как положено волкодлаку? И Эржбета замерла, оглушенная ужасной догадкой.

Матушка!

Она исполнила свою угрозу... и там, за дверью, не просто так мужчина, но баронет во втором колене, ее, Эржбеты, потенциальный жених.

Конечно, иначе почему бы панна Арцумейко, не жаловавшая всех мужчин, за исключением собственных сыновей, которые, на счастье Эржбеты, уже были женаты, впустила его? И позволила подняться на второй этаж одному...

И тогда выходит, что вчера в библиотеке он тоже не случайно появился... он искал этой встречи... желал поглядеть на Эржбету издали, как то делал влюбленный герцог в «Порочной страсти»... а заговорил... заговорил потому, как не по нраву ему пришлось творчество Эржбеты.

А если он из тех мужчин, что вовсе не признают за женщинами право творить?

[Купить полную версию книги](#)